Содержание

СИНЕЕТ МОРЕ ЗА БУЛЬВАРОМ

СТАРИК ШАЛАНДА
ВУНДЕРКИНД ИЗ ТУНДРЫ
МАТЬ НАША МАШЕНЬКА
ВИТЬКА-ДУРОХОД И ТАНКЕР «ОРЕЛ»
ЗАКРОЙЩИК ИЗ КОСТРОМЫ
ФАНТАСТ ПЛУТОНИЙ И ШАЛАНДА
МЫС РАМАНОН
ЗВОНКАЯ БОЧКА
КОНИ
ПИСЬМА ТОЛИ ВЕРНИКОВА
СКАЗКА ПРО ВЕЛИКОГО ФИФЛИ
СКАЗКА ПРО ЧОКУ

СИНЕЕТ МОРЕ ЗА БУЛЬВАРОМ

СТАРИК ШАЛАНДА

Берег сырой и голый, купальщиков, самых смелых, три-четыре, а загорающих вовсе не видно: море штормит, все оно косматое, шумящее и грохочущее. Волны бегут, пожалуй, от самой невидимой Турции, вырастают за долгую дорогу, набираются злости; приметив вдруг на своем пути черные камни, волны вздыбливаются еще выше, хотят снести, раздробить камни, но сами взлетают мелкими брызгами, будто кто-то взрывает их снизу, затихают и, жалобно шипя, растекаются гладкой белой пеной: им очень не хочется умирать.

Русик идет к большим валунам на мысу — только там, в маленькой лагуне, за мшистыми спинами камней, можно наловить бычков. На нем старенькая вельветовая куртка, потертые техасы, запоясанные по-взрослому широким ремнем, красные кеды — очень удобная для рыбалки обувь; в одной руке — удочка, другой он придерживает сумку на боку с кое-какой едой (сумку мать сшила из новенькой, с зелеными и красными кубиками клеенки, а ремешок он сам прикрепил, простой брезентовый, от школьного ранца). Волны гремят, раскатывают по берегу гальку. Большие волны, разбившись, отступают особенно далеко, и тогда Русик подбегает к намытым водорослям, выхватывает из них одну или две — сколько успеет — ракушки-мидии, кладет их в клеенчатую сумку. Это наживка. В шторм не добудешь морского червя — лучшей, любимой всеми рыбами пищи, не наловишь сачком рачков-креветок, даже блох-прыгунков, живущих под крупными гальками (этих прыгунков обычно собирай горстями), сейчас не отыщешь: все отобрал шторм, накрыл водой. Зато волны срывают с донных камней мидии и швыряют на берег. Пустячная наживка, но раз не запасся хорошей — радуйся этой. Море само к ногам подкидывает и словно бы ворчит радушно: я ведь совсем без ничего не оставлю, я богатое, я сочувствую рыбакам.

Среди камней, у грохочущей кромки прибоя, Русик замечает одинокого удильщика. «Наверно, старик Шаланда. Ну да, тощий, согнулся от холода. В такую погодку, кроме него, никто и не ходит за бычками». Русик шагает живее, чтобы застать старика, а то скучно будет одному среди шума и грохота. Под глинистым обрывом мыса он снимает техасы, кладет на сухое, прижимает сумкой, мидиями набивает карманы куртки; и так, в кедах, трусах и куртке — кеды спасают ноги от колких камней, куртка от ветра,— идет к лагуне, заплывшей кипенной пеной. Надо пробраться на тот длинный рубчатый камень, напоминающий издали спину крокодила: его почти не заливает волна и за ним есть «окошко» спокойной воды. Русик нащупывает кедами дно, чутко шагает, вспоминая, где и какие камни лежат, и все-таки соскальзывает в яму — трусы и низ куртки тяжелеют, делаются холодными. Теперь нечего осторожничать. Он бредет напрямик, а Шаланда, раскрыв беззубый рот, еще больше согнувшись, беззвучно хохочет, как в кино с пропавшим звуком, или наоборот — можно подумать, это из черного рта старика несутся оглушающие все на свете звуки.

Русик вскарабкался на камень-островок, размотал леску, подошвой кеды раздавил мидию, наживил скользкую желтоватую мякоть, опустил крючок в чистую глубину у стенки камня.

Шаланда рыбачит под самым прибоем; огромные валы, кажется, вот-вот сшибут его, кувырком протащат через гряду камней и неживого бросят в лагуне. Но старик смеется, что-то кричит, мотая белой мокрой, распатланной головой: рад, наверное, что появился напарник. Хотя в ясные дни Шаланда до трясучки не любит, если кто-нибудь забрасывает удочку в его «ямку». Говорит, шипя и плюясь: «Ты мне на горб залезь, любимец, али еще луче, полезай в море, с крючка мово сымай». Даже Русика гонит, которого помнит, по его словам, «с первого дня появления на берегу». Ему нельзя не наловить — рыбу старик продает, почти задаром, правда, однако не может не продавать: пенсию старуха за него получает сама и покупает только одну «бутылешку махонькую». Про эту мучительную беду Шаланды знают все жители, от десятой станции курорта Большой Фонтан до конца города, и уже давно никто не подшучивает над ним.

Русик поймал крупного бычка, снял его, теплого, мягкого на прохладном ветру, положил в сырую расщелину камня, и бычок замер, ослепший, оглохший после полусвета и тишины морского дна. Бычки не трепещут, не бьются, как другие рыбы, они берегут себя и долго живут на воздухе.

Мокрый, иззябший старик, казалось, не ловил, а выметывал бычков из пены прибоя. На кукане у него, в тихой воде, колыхалось уже штук тридцать, одинаковых, с ладонь величиной. Вот попалась ему маленькая рыбешка; он резко, не снимая с крючка, ударил ее раз-другой о камень, сшиб, поправил наживу (у него, конечно, морской червяк!), быстренько забросил снова. Зачем Шаланда убивает рыбу, почему не отпустит, если она ему не нужна? Жестокий старик. Или лень возиться с мелочью? Надо поговорить об этом, когда он будет в хорошем настроении, особенно после пивбара «Якорь».

Поплавок нырнул косо в зеленую темень водорослей, качающихся будто под ветром, Русик слегка дернул удилище, подсек и плавно повел руку вверх, чуть наискось, чтобы не запутать леску в цепкой водяной траве. Бычок легко, словно бы сам этого захотел, выскользнул из воды, шлепнулся в левую ладошку Русика. Он подержал его немножко, грея руку, положил рядышком с первым. Клев наладился, Русик следил лишь за поплавком, не слыша прибоя, вовсе позабыв о старике Шаланде. Только раз, когда ветер сорвал макушку волны и брызги картечью ударили ему в лицо, он подумал, вдруг засмеявшись: «Вот я и конопатый — брызги соленые исконопатили меня».

А потом, через какое-то время, может, час или полтора, Русик услышал рядом голос старика, похожий на скрип старой судовой лебедки:

— Бросай это дело, любимец! Волна зашибет. Вишь, как лупит. Мы ж не пароходы железные!

Вместе перебрели лагуну — по ней тоже гуляли волны, — пересекли трусцой галечниковый берег, спрятались под нависшим обрывом мыса. Здесь лежали техасы Русика, сумка с едой, и было здесь сухо, тихо; глинистый обрыв еще не остыл, хранил внутри себя тепло погожих дней.

— Давай костерок соорудим, а? — сказал-спросил Шаланда, доставая папиросы, спрятанные в нагрудный карман рубашки, мятые, но сухие папироски «Север». — Я этим погреюсь, а тебе, любимец, костерок бы, подсушиться. Как считаешь?

Русик нагреб сухой травы, набрал щепок, когда-то давно выброшенных прибоем, старик смял пустую папиросную пачку, сунул в траву, повозившись со спичками — закостенелые пальцы крупно дрожали, едва гнулись, — поднес одну в трясущихся ладошках к бумаге, и огонек послушно занялся, запрыгал, заискрился, будто он был здесь всегда, в тихой нише обрыва, ждал людей и рад, что его разбудили.

— Костер — человек, с им не страшно портки намочить. Или, к примеру, море переплыть.

Шаланда вылил из резиновых сапог воду, кое-как отжал портянки; тощие, посинелые, искалеченные костистыми мозолями ступни сунул чуть ли не в огонь. Русик снял кеды, носки: подсушиться очень даже хорошо, мать и не узнает, что он рыбачил сегодня. Нет, Мать наша Машенька — так называет ее отчим — не запрещает Русику удить рыбу, но всегда расстраивается, если видит его мокрым или испачканным: ей ну совершенно некогда обстирывать всех, хотя бы маленькую Нинуську успеть «обработать», она в детсад ходит, должна аккуратненько выглядеть. Русик и сам себе постирает. Носки, трусы, майку поколотишь в морской воде — чистые, как после порошка «Нептун», делаются.

Старик разомлел, привалился тощей спиной к теплой глине обрыва, прижмурился. Мечтает, а может, дремлет от большой усталости. Исхлестанный ветром, брызгами, он, кажется, стал еще костистее. Смешной, интересный, печальный человек. Все его знают, все с ним знакомы, особенно портовики. И прозвали его «Шаланда» за то, что он говорит, будто бы песня из кинофильма «Два бойца» про него сочинена, он и есть тот Костя-рыбак, который налавливал «шаланды, полные кефали». А рыбачка Соня — его постарелая теперешняя жена. Это она как-то в мае причалила к берегу баркас, и Костя-Шаланда в нее влюбился... Кто

подтрунивает над стариком, кто поддакивает, но все встают, когда он входит в пивбар «Якорь» — точно по словам песни: «И все биндюжники вставали...» Русику очень хочется, чтобы было именно так, как говорит Шаланда. Ведь он же воевал, имеет орден Славы, израненный, до войны рыбачил, на пенсию вышел портовым грузчиком. А бычков удит и продает — не большая беда, может, хобби такое у него, и еще старик любит «личную монету иметь в кармане».

Надо спросить... ну да, надо спросить Шаланду... Вот он открыл глаза — они блеснули чисто и улыбчиво, словно отдохнули, согрелись, гуще подсинились, как морская вода в ясный день, — молодые, даже мальчишеские, посреди морщин, шрамов небритого, старого, носатого, изношенного на морской непогоде лица. И Русик спросил, придвигаясь к Шаланде, глядя ему в глаза:

— Ты зачем убиваешь маленьких бычков?

— А ты зачем их кошке отдаешь?

— Я... если мало поймаю...

— Отпусти, любимец, если мало. Кошка пускай мышами кормится, раз человек энту тварь не потребляет.

Не ожидал Русик такого ответа, не знал, что старик видел санаторного бродяжливого кота, которого Русик прозвал «Базилио» и иногда дает ему несколько рыбешек. Шаланда хмуро смотрел на Русика и, заметив его внезапное смущение, вспыхнувшие конопушки на щеках, хрипло и протяжно захихикал.

— В каком классе учисся?

— Скоро в первый пойду. А читать умею.

— Смотри-ка, малец-мальчонка. А я думал, в третьем или четвертом уже. Ну, все одно — грамотный, раз книги читаешь. Вот тебе моя наука. Поприглядись, ответь мне, что это такое обозначает.

Шаланда поднес к лицу Русика скрюченные, почти черные, с загнутыми желтыми, закаменелыми ногтями пальцы. Никогда не видел Русик близко руки старика и понял сейчас, почему говорят о таких: узловатые. Суставы пальцев у Шаланды напоминали узлы туго завязанных веревок-шкотов.

— Молчишь? Сам пояснение дам. Разве этакими клешнями маленькую рыбешку сымешь? Глянь. Крючья натуральные, которыми осетра ловят. Поржавелые еще.

— П-почему такие? — спросил Русик, чуть отшатнувшись, словно желтые ногти могли впиться ему в лицо.

— От работы, от соли, любимец. За это и обожали Молдаванка и Пересыпь Костю-моряка. — И старик негромко, хрипуче запел: — «Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет...»

Он пел, снова пригасив водянистыми веками глаза, а Русик смотрел в море и думал, что сейчас оно дымно-зеленое, бурное, опасное для рыбачьих шаланд. На мачте портовой службы, пожалуй, качается не меньше двух черных шаров штормового предупреждения. И только большие корабли непоколебимыми темными громадами проплывают вдали от берега. Идут пароходы в порт разгружаться и загружаться. Наши, заграничные. Моряки выходят на Приморский бульвар, шумные, в бело-синих форменках, из разных стран мира: загорелые, смуглые, черные. Говорят громко и непонятно, всем улыбаются... Когда-то работал в торговом порту грузчиком Шаланда, бегал по трапам с мешками и ящиками за спиной, а теперь там, вдоль бетонных пирсов, — краны на рельсах, много кранов, железный лес издали, двигаются, шевелят вроде бы лениво решетчатыми стрелами-руками. Людей почти не видно, грузчиков и подавно нет (брезентовые нагорбники давно в музеи сдали). От такого нагорбника, наверное, у старика спина скрючилась, как большая мозоль стала. Но поет он не грустно, просто задумчиво, забыв, кто с ним рядом, поет — вспоминает свою хорошую молодость, отчаянную рыбачку Соню и сам молодеет. Седые волосы вовсе, может, и не седые — сорвал ветер с волны пену, бросил Шаланде на голову...

Русику припоминается бабка Соня, жена старика (да, это точно, ее звать Соня, а его

Константин), всегда крикливая, толстая, краснолицая, со всегдашней своей поговоркой: «Чево кричишь, как на пароходе!» Ей кажется, что и на нее все кричат. Этой весной их семейству урезали приусадебный участок, потому что вся окраина, бывшая деревня, стала вдруг тоже городом. Бабка Соня ездила скандалить к большому начальству, каждый вечер кричала соседкам, что они голодранки, а в городские захотели, из-за них будто бы и присоединили деревню к городу. Русик не понимает, почему так возмущалась бабка Соня. Жить в городе лучше, особенно таком, красивом, колбасу разную, мороженое продают, трамвайную линию провели, потом, может быть, построят белые высокие дома с лифтами и всех переселят в них; на балконе Русик капитанский мостик устроит или пост наблюдения, каждое утро будет видеть море и пароходы.

Шаланда кончил петь, тихо поулыбался сам себе, поднял клеенчатую сумку, глянул в нее:

— Ого, любимец, у тебя закусить имеется?

Русик разломил пополам бутерброд с маслом, разделил колбаску копченую, сладкий сырок подержал в руке, положил обратно: одному есть неловко, а старик, пожалуй, откажется. Детская еда.

— Хорошо, что в городе стали жить, правда? — сказал Русик, глядя, как Шаланда старательно мнет беззубыми деснами жесткую мякоть колбасы.

— Это с какой стороны подойти. Мы городу больше понадобились. Чтоб мильон был.

— Миллион человек?

— Ну да. Когда мильон, в особое положение такой город вступает: снабжение, строительство, пятое — десятое по первой категории. Такую политику понять можешь?

— Могу.

— Ты, Еруслан, скоро состаришься. Малец-мальчонка — и все маракует! Это потому — без отца растешь, вроде сам себе вдвойне голова. Так, что ли?

— Папка в плавании, есть у меня папка, он в загранку ходит...

— Ясно, никто без папок на свет не рождается. Только твой долго плавает. Сколь уже годов? Четыре, толкуешь? Половину твоей жизни.

— Он придет. Обещал приехать.

— Пусть покажет свой конопатый нос, я с ним лично по-моряцки побеседую.

Перестав жевать, Русик отвернулся к морю, и оно стало для него мутно-серым, будто застелил воду сплошной туман, и волны приглохли, и морось, приносимая ветром, казалась теплой. Почему никто, кроме матери, не верит ему, что отец в долгом плавании, жалеют его, а то подшучивают: «Не вернется, бросил тебя, шибко рыжим уродился». С фронта без вести пропавшие приходили... Отец ведь живой, работает матросом первого класса на большом танкере «Орел»... Но недолго огорчался Русик, он не умел быть сердитым, любил отца, немножко помнил его и всегда верил ему. Вот он в морской робе, невысокий, зато крепкий и разворотливый, чуть раскачиваясь, идет по палубе танкера, осматривает свое хозяйство: тросы, лебедки, шлюпки, запасные якоря. За бортом бушует Атлантический океан, выпрыгивают из воды летающие рыбы и дельфины, волны перекатываются через железную палубу, вдали виднеются тропические острова. Отец стоит на носу «Орла», лицо ему секут острые брызги, он смотрит в бинокль — нет ли какой опасности. Танкер выполняет важный рейс — везет на Кубу тысячи тонн нефти...

— А этот, новый, тебя не обижает?

— Иван Сафонович? Он Нинуськин папка.

— Понятно, что не твой, потому и спрашиваю.

— Не-е. Он только долго разговаривает. Жить меня учит.

— Занудный тип, знаю.

— Мама говорит: хозяйственный мужик.

— Ясное дело, мимо своего рта ложку не пронесет. Видал я таких мужиков: пока молодые — бойкие шибко, а опосля, как зачахнут, местечко тихое ищут, возле чужого тепла

погреться, хозяйственными делаются... Был у нас такой, тоже приезжий, году в сорок шестом, в порту работал. Ну, теперь краны, техника, а тогда горб грузчика, биндюжника — вся механизация. По двенадцать и более часов с мешками, ящиками бегали из трюмов на пирсы. Паек, правда, хороший получали, дополнительный. Ты вот и не понимаешь, любимец, какая такая штука карточная система. Так ведь?

— Хлеба мало давали. Мама рассказывала.

— Всего мало давали, а то и вовсе нечего было давать, война все съела. Ну, мы артельно жили, кашеваркой у нас Сонька моя работала. Главное — еда горячая да чтоб сполна, иначе пропал. И не отрывайся от артели, это еще важней: поможет, выручит братва — заболел, или пропился, или семье помочь надо. Каждый ведь человек, у кого ошибок не бывает. Даже конь, говорят, о четырех копытах и то спотыкается, пароход в тыщу лошадиных сил на мель садится. А человек — он как ты да я. Вроде крепкие, в душе могучие, а пойди вон к волне, стань — шибанет о камень, и нету нас, хороните, люди, красивые трупы.

— Ты про мужика хотел...

— Я и подвожу к мужику этому дело. Мы, значит, артельно живем, спины гнем, кашу хлебаем, он — в одиночку. Бегает по трапам вместе с нами, помалкивая, а как обед — в сторонке паек свой поедает. Исхудал мужик, несмотря что Сонька подкармливала из артельного котла остатками. При нас не брал, правда, стыдился. Опосля выяснилось: паек на Привозе продавал, на рынке, денежки скапливал мужичок, хотел богатым уехать в Россию. Не знаю, как бы у него вышло, может, выдюжил голодовку, да тут денежную реформу провели, а у него весь капиталец хранился в сундучке. И получил хозяйственный мужик за кажную десятку по рублику. Тебе не понять, любимец, такую трагедию. Не выдержала душа, пошатнулась, в психиатричку попал наш приезжий биндюжник. Жалели мы его, навещали. Через какое-то время, правда, оклемался, вышел на волю, к нам не пошел, умно оценил обстановку — мужиков мало, вдов вдоволь,— прибился к одной с домом, садом, огородом и по сю пору на Привозе фруктами-овощами торгует Гладкий, краснорожий, довольный жизнью. Меня презирает, Соньку не узнает. А я всегда ему говорю: «Привет, биндюжник!» И запою иной раз: «Шаланды, полные кефали...» Шипит, бормочет, милицией пугает, прибил бы меня: я ему прошлое напоминаю, а он там душу свою оставил; семью — где-то в России, а душу — в тех днях, когда горелые остатки из котла доедал. Вот как бывает, любимец милый! Да что ж я тебе, мальцу, про это рассказываю? Заболтался совсем.

— Не-е, — помотал головой Русик. — Иван Сафонович не такой. Он Нинуську любит и маму называет «Мать наша Машенька». Мама говорит — с ним можно жить, хотя бы водку не пьет.

— Правильно, такие не пьют, такие питаются... Вот подрастешь, Еруслан, лет на десяток, мы с тобой тогда потолкуем, если я живой буду, да и сам ты к тому времени кое-что про людей узнаешь, а теперь давай-ка уходить, волна шибче бьет, измочит нас морось, огонек, видишь, тоже гаснет.

Морось уже дождем порошила их, сырела и темнела глина обрыва, ветер задувал в нишу, и пепел костра испуганно взметывался, сырел, падал за их спины, в темень, будто прятался. Русик натянул кеды, застегнул куртку, поднял удочку и сумку. Своих бычков — шесть штук — решил отдать старику Шаланде: пусть у него прибудет; мать все равно не станет жарить шесть штук, только возню разводить. А кота кормить — дорогая еда, мышей совсем перестанет ловить. Русик молча нанизал своих бычков на кукан старика — получилась увесистая, красивая, пахнущая морем и водорослями связка. Старик кивнул благодарно, поняв все точно, как думал и решил Русик.

— В другой раз рассчитаемся.

Они зашагали по хрустящей гальке. Справа гремел прибой, слева немо, уступами высился берег с кустами акаций, платанами, дощатыми домишками, в которых жили древние старики и старушки и много приезжающих к ним отдыхать — купаться, загорать, лечиться фруктами. Напротив маленькой пристани-купальни — на ней приплясывали два отчаянных

пловца — они свернули в гору, по деревянной лестнице стали медленно подниматься к белым коттеджам Будынка твирчисты радяньских писменныкив — писательского дома творчества. Здесь когда-то, лет десять назад (Русик этого не помнит), был фуникулер, возивший отдыхающих к морю, но обрушился берег, покорежил железные балки, бетонную площадку наверху, и пришлось устроить просто лестницу. Берег еще несколько раз оползал вместе с деревьями, уменьшая и так тесную территорию Будынка, крайний коттедж теперь стоял почти у обрыва.

— У этих письменникив скоро вовсе берега не будет, — сказал Шаланда, когда они шли по аллее, обсаженной кипарисами, похожими на солдат в строю, красно пылающей цветами каннами, очень строгой аллее, ее всегда хотелось пройти молча. Но Русик все-таки проговорил много раз слышанные слова:

— Укреплять надо.

— Книжками ихними?.. — Старик негромко закашлялся, с охотой захихикал: он считал, что все настоящие писатели давно померли, а эти, приезжающие сюда «творыты», вино пьют да животы наедают.

Вышли из ворот — громоздких, с колоннами и железной решеткой, словно за ними целый город размещался, — и легко зашагали рядом с асфальтовым шоссе. Здесь было тихо, тепло, море осталось где-то глубоко внизу, приглушенное садами и платановыми рощами. Старик Шаланда надбавил шагу, вытянув сухую коричневую шею и резко кивая острым сизым носом: ему хотелось успеть на рынок, пока не разошелся базарный народ, запродать какому-нибудь барыге свежий улов (пусть тот стоит за прилавком, торгуется с домохозяйками), потом культурно отдохнуть в теплом и веселом пивбаре «Якорь».

Он, пожалуй, позабыл уже, с кем идет, кто отдал ему своих бычков, но Русику ничуть не обидно: ведь они еще много раз увидятся на берегу моря, а случится шторм — вдвоем будут удить у самого прибоя, на черных камнях.

ВУНДЕРКИНД ИЗ ТУНДРЫ

— Какой ты рыжий!.. Еще конопатый... У тебя в глазах рыжие конопушки!

— А ты бледный... Белый как снег, вот! — сказал Русик, почти не думая, потому что сразу приметил худого бледнокожего и темноволосого мальчишку, как только спустился на пляж.

Даже среди новеньких, нисколько не загорелых, мальчишка светился своей бледнотой, будто обтянутый синтетической пленкой, а красные трусики и темные волосы еще резче оттеняли белизну, синеватую прозрачность его кожи.

Русик притронулся пальцами к плечу мальчишки и сразу отдернул руку — кожа была холодная, слегка влажная, хотя мальчишка еще не купался.

— Ты Кай? Тебя заледенила Снежная Королева, да?

— Я из Нарьян-Мара. У нас тундра.

— А ты море любишь?

— Наше море холодное. А у тебя от солнца конопушки в глазах? — Мальчишка засмеялся, и Русик увидел его зубы, ну совсем сахарно-чистые (у местных всегда какой-нибудь ягодой подкрашены); длинной ладошкой мальчишка поворошил патлатые волосы Русика. — У нас таких солнышками зовут. Мало у нас таких.

Около воды стояла женщина, тоже незагорелая, правда не такая бледная из-за ярко-желтого купальника. Она трогала ногой маленькие волны, бежавшие к берегу от плескавшихся среди камней ребятишек, и тоненьким, зябким голосом звала:

— Юлий, пошли вместе, мне страшно одной! Ну, сынок, давай вместе!

— Хочешь, и я с вами, — сказал Русик. — Сначала все боятся, а потом... потом из моря никого не вытащишь. Старик Шаланда говорит: у некоторых жабры вырастают.

Юлий опять засмеялся, глядя в море, засмеялся морю, прижмурился от его сияния, словно хотел подружиться, понравиться морю издали, еще не притронувшись к нему, чтобы

потом теплое море приняло северного человека сразу, стало нежным, навсегда своим. Слушая тоненький, робкий и радостный голос матери, Юлий спросил Русика:

— Ты Руслан, да?

Русик кивнул, но удивившись: кто же его не знает на этом берегу? Каждый день, в любую погоду, он приходит сюда. И дед Шаланда тоже. Русик посмотрел вдоль берега, на колеблющийся в голубоватом мареве желтый глиняный мыс, и среди черных камней за лагуной приметил одинокую сутулую фигуру рыбака: старик удил бычков.

— Тогда веди, Руслан.

— Давай с пристани, там песок сразу, а тут камни, ноги поцарапать можно. Зови свою маму.

Они прошли по доскам купальни к самому краю; железная лестница здесь круто устремлялась в зеленую, сверкающую солнечными бликами воду, упиралась в чистое песчаное дно, по которому черным пауком полз маленький крабик, а выше висели жидкие медузы и плавали юркие стайки рыб феринок. Русик бултыхнулся нарочно по-смешному, неловко, отплыл немного, позвал Юлия. И тот нырнул с верхней ступеньки лестницы, вытянувшись струнко, остро резанул ладонями воду, даже брызг не было. Вынырнул далеко, крикнул:

— Мама, ну! Водичка тепленькая!

Женщина вздыхала, ойкала, осторожно спускалась по ступенькам лестницы; ее подбадривали купальщики, смеялись, она отдергивала ноги, словно их обжигала соленая вода, потом, взвизгнув, плюхнулась в море и, на удивление всем, легким брасом поплыла от пристани-купальни. Она догнала Юлия, вместе они уплыли еще дальше, в самое разливное солнечное сияние, за которым уже начиналось густое, синее открытое пространство; их головы едва виднелись, когда со спасательной лодки задремавший парень в тельняшке прогремел мегафоном:

— Граждане! Немедленно вернитесь в зону купания!

Русик решил было пойти на мыс поудить бычков, но раздумал: не мог он оставить одного Юлия — скажет еще, что сбежал, бросил человека, первый раз приехавшего отдыхать, не по-дружески получится; Русик же сам к нему подошел, пригласил купаться. Он взял свою одежду, сумку с едой, удочку, все перенес на пристань. Наловил в спичечную коробку рачков-прыгунков, живущих под камнями (хоть и пустячная наживка, однако сойдет для начала ловли), сел на крайнюю доску, свесив ноги, размотал леску, наживил рачка и тихонько опустил крючок в чистое песчаное оконце среди водорослей и замшелых камней.

Юлий с матерью пробежали мимо. Мать легла загорать на поролоновый коврик, а Юлий, растершись полотенцем, вернулся, сел около Русика, белый, прохладный, с чуть зарозовевшими щеками; сказал, вздрагивая, тронув плечо Русика:

— Хорошее у вас море.

— Ты здорово плавал! Где научился?

— В бассейне, когда жили в Архангельске. Моя мама физкультуру преподавала.

— А-а... я думал... Вы же в Будынке твирчисты?

— Дядя путевки достал. Он писатель.

Поплавок юркнул в водоросли, Русик дернул удочку, и на доску шлепнулась головастая, с зелеными пятнами и широким плавником вдоль спины рыбешка, запрыгала хлестко. Юлий хотел прихлопнуть ее ладошкой, но Русик жестко оттолкнул его:

— Это собака! Смотри, зубы какие. И колючки на голове, уколет — долго будешь болеть. Собака ядовитая.

Прижав рыбешку подошвой кеды, Русик выдрал из зубатого рта крючок, столкнул собаку в воду. Юлий, растерянно усмехаясь, сказал:

— Теперь понятно — юг. Даже собаки в море водятся, да еще ядовитые. У нас собачки нарты таскают, на охоту ходят, а рыба большая — семга, нельма. Ты про таких рыб слышал?

Русик помотал головой.

— Зачем же толкаешься? Ты малыш против меня. Я пятый закончил.

— Ври!

— Нечего мне врать. Я в пять лет пошел в школу. Вундеркинд. Знаешь, что такое вундеркинд? Сверхспособный. Я чемпион по шахматам.

Русик отложил удочку и, слегка приоткрыв рот от смутившего его удивления, принялся рассматривать белокожего мальчишку. Белого и черноволосого. Отличного пловца, чемпиона по шахматам. Вундеркинда. Слово такое Русик слышал, но чтобы видеть живого... обычного... Должно же быть в нем что-то, чего совсем нет у других. Ну бледный. Ну первый раз приехал на юг... Русик глянул в глаза мальчишки, карие, с необыкновенно большими зрачками,— увидел в них себя перевернутого, золотистого, море и небо — и не выдержал внимательного, нервно мерцающего напряжения этих глаз. Понял вдруг: они грустные, усталые и грустные. Вундеркиндам, наверное, приходится много думать, все другие должны уважать их за это, а не толкаться, если даже спасаешь от морской собаки. Русику захотелось извиниться — он-то, кроме как читать по складам да рыбу удить, ничего пока не умеет, — и Русик, опять увидев себя в зрачках мальчишки — маленького, золотистого, перевернутого, — сказал:

— Я тебя с дедом Шаландой познакомлю. Это про него песню сочинили «Шаланды, полные кефали...».

— Серьезно?

— Весь город знает. — Русик вытянул руку в сторону мыса, теперь засизовевшего в горячем мареве: — Во-он там, на черных камнях, рыбак стоит, такой скрюченный, видишь? Он, Шаланда.

— «Синеет море за бульваром...» — тихонько запел Юлий и сразу осекся: голоса у него не было, и не пел он вовсе, а декламировал. — Ты мне каштан покажешь?

«Ага, не все ты умеешь, не все видел», — подумал Русик, немного стыдясь своей радости, зато ответил с охотой и серьезно:

— Каштан, платан, акацию, чертово дерево — все, что захочешь. Платан моя мама называет еще чинарой, а чинару — бесстыдницей: всегда голая, кора почему-то облазит.

Из-за громоздкого мыса слева, на котором белым столбом со стеклянной макушкой под красным козырьком высился маяк, медленно выплыл, будто не касаясь воды, пассажирский пароход, высокий, с тысячами иллюминаторов, серебристый от ватерлинии до верхушек мачт; труба — как хвост реактивного самолета, только крыльев не хватало, чтобы полететь. Немо, отрешенно он стал удаляться в морскую непроглядность, точно навсегда покидая землю.

Юлий протяжно вздохнул, забывчиво и грустно улыбаясь.

— Электроход «Одесса», новый, — сказал Русик. — А мой папа на танкере «Орел», в загранку ходит, матрос первого класса. Танкер — работяга, а этот — красивый, для туристов, с ресторанами, танцами...

— В хорошем городе ты живешь, Руслан.

— Мы недавно в городе. Тут смотри, везде дома отдыха. Шаланда говорит, нас подсоединили, чтоб миллион был: когда миллион — снабжение лучше. Некоторые не хотят быть городскими, сады им важнее, другие радуются — зато трамвай есть.

Не слушая или не слыша, Юлий смотрел на отдаляющийся, тускнеющий электроход в слепящей до слез дымке и, не теряя прежней улыбки, говорил:

— Мама записалась во все экскурсии: по историческим местам, Морской музей, Археологический, катакомбы... Хочу увидеть Потемкинскую лестницу, Приморский бульвар... Я много читал о Черном море, теперь искупался в нем. Оно лучше, теплее, чем даже я представлял, но пустое ведь — рыбы почти нету, мало. Ты знаешь, почему? В глубине вода заражена сероводородом, таким газом, от него все живое погибает.

— А бычок, ставридка, кефаль?

— Это возле берега, сверху. Вот наше Печорское море — как мешок с рыбой. Льды и рыба, тюлени. Приезжай, нельму поймаешь! Собаки у нас по тундре бегают.

— Ладно, подрасту когда.

Русик забыл, про удочку, слушал Юлия, уже по-настоящему веря, что он вундеркинд: о Черном море знает, может, больше, чем сам Шаланда, все читал, все хочет видеть, понять. Он, пожалуй, и над Русиком посмеивается: тоже мне местный житель, родился здесь, столько лет прожил, а мало смыслит о своем море! Оказывается, оно только для пароходов и купания хорошее. И плавал Юлий не хуже других; нырнул и поплыл, словно по родному Печорскому. И город он будет лучше Русика знать: поживет в Будынке твирчисты двадцать четыре дня, много раз съездит в город, накупит книг в музеях, сувениров, посмотрит исторические места... Он сверхспособный. Надо хоть чем-то удивить его, чтобы не очень уж сильно презирал здешних мальчишек, которые не виноваты, что Черное море в глубине отравлено. Зачем вообще про моря выдавать такие тайны?

— Хочешь, наворуем персиков? — сказал Русик, трогая руку Юлия.

— Наворуем?

— Ну да... за так возьмем.

— Мама купит, если я попрошу.

— Чудак! Их же еще не продают, зеленые. А я заметил одно дерево, вон там, у Страхпома. Так хозяйчика вредного зовут. — Русик показал на высящийся уступами берег с дощатыми домишками в плотных зарослях садов, акаций, платанов, с рыжими глинистыми оползнями. — Не бойся, я сам полезу. Дворняжка старая, глухая... Мы все равно фрукты не покупаем.

— Н-не знаю. У мамы спрошусь.

— Так тебя она и пустила! Отругает еще. Скажи, погулять немножко захотел.

Юлий глянул на громоздкий береговой склон, то зеленый, то обрушенный, как ранами зияющий желтой глиной, с узенькими тропинками, затененными двориками, и, вздохнув чуть огорченно, кивнул Русику.

Они спустились на разогретую солнцем гальку пляжа, подошли к матери Юлия. У нее уже заметно розовела спина, и Русик хотел сказать ей, что сразу много загорать опасно, можно даже заболеть, но не осмелился, очень уж она была дальней-дальней, белой и черноволосой, не похожей на всех местных женщин. Юлий заговорил с матерью, почти не слушавшей его, а Русик, оставив возле поролонового коврика сумку и удочку, зашагал потихоньку в гору, чтобы не мешать чужой беседе и чтобы у Юлия было больше решительности: видишь, я уже пошел, догоняй, не трусь!

Он шлепал босыми ступнями по горячей жесткой тропе, чувствовал, как с каждым шагом жарче, душнее становится в сплошных зеленых зарослях — сюда не поднимался морской воздух,— и думал уже, что не придет Юлий, но тот догнал его, часто дыша, пошел молча рядом. На нем была рубашка, шорты, тапочки. Правильно сделал Юлий — только местным можно ходить в трусах и босиком, кожа у них до самого нутра пропеченная.

Изгородь из проволочной сетки, виноградные лозы с разлаписто-широкими листьями и зелеными гроздьями ягод, окно в коричневой стене дома — все это возникло так внезапно за поворотом тропы, что Юлий остановился и присел на корточки. Чуть подтолкнув в плечо, Русик поманил его в сторону, под густые ветви акаций, взял за руку, и, пригнувшись, они стали пробираться к проволочной изгороди с другой стороны.

— Вон, смотри, какая дыра, — зашептал Русик, не отпуская руки Юлия. — Не думай, не я проделал. Это работа Витьки-дурохода, я просто выследил... А вон то дерево. Витька обобрал почти что. Какие персики, а? Почти спелые. Такое дерево раннее, понял?

Юлий выдернул свою руку, поднялся во весь рост, будто хотел, чтобы его заметили из-за сетчатой изгороди, и, бледнея до бумажной белизны, отчего глаза у него засветились черными огоньками в зеленых сумерках рощи, сказал быстро и внятно, как старший, когда наставляет младшего:

— Ну, Руслан, потренировались, и хватит, ладно? Ловкий ты парень, доказал. А брать чужое стыдно. Человек выращивал, трудился... И дерево, погляди, какое красивое: листья — прямо ладошки растопыренные, а в ладошках — желтые пушистые птенцы. Спасибо, что

показал. Пошли теперь купаться, бычков и водяных собак ловить.

— Чо-о? — потрясенно удивился и тоже выпрямился Русик. — «Человек выращивал, трудился»... Ха! А ты видел? Он по двадцать отдыхающих принимает, мама говорила. Дочку с ребятишками выгнал, «Жигули» купил и еще... еще женился. А старуху свою, все говорят, в сумасшедший дом засадил. Вот тебе, как трудился! Кто ему поверит, что в загранку ходил, старпомом работал? Страхпом настоящий!

— Все равно. Это не наше дело. Воровать нельзя. Пусть милиция с ним разберется, если он плохой.

— Участковый у него водку пьет! Понял, вундеркинд?

— И понимать не хочу, Руслан, пошли, не позволю тебе...

За изгородью заворчала и хрипло, по-стариковски, гавкнула собака. Тут же осторожно хлопнула дверь, и по твердой, мощенной камнем дорожке застучали негромкие, отчетливые шаги. Шаги настороженные, но тяжело-уверенные. Человек шел за деревьями своего сада и, пожалуй, до времени хотел быть невидимым.

Русик и Юлий мгновенно присели, отползли в заросли бузины и боярышника. Затихли, глядя сквозь листву на проволочную сетку. И за нею появился человек. Нет, не бородатый и свирепый, не с маленькими желтыми злыми глазами, как пишут о таких в книжках, а рослый, чисто выбритый, с густой седоватой прической, не старый еще мужчина. Он был в белой расшитой украинской рубашке навыпуск, в дорогих импортных техасах и коричневых полуботинках. Ни злости в глазах, ни свирепости на лице. Человек, словно прогуливаясь, подошел к персиковому дереву, погладил ствол ладонью, оглядел ветви, заговорил ласково:

— Ободрали, сволочи. Ничего, какой-нибудь попадется.

Человек приблизился к дыре в изгороди и ее оглядел ласково, затем наклонился, слегка примял траву, довольно хмыкнул и улыбнулся:

— Сюда он и втюрится, милый, вниз головкой, тепленького возьму.

Он медленно удалился, заложив за спину руки, нежно напевая: «Ты опять в цвету, мой веселый сад...» Аккуратно хлопнула дверь. В знойной тишине лишь пчелы буйно гудели над клумбами цветов около дома.

— Слышал? — проговорил еле внятно Юлий. — Он там ловушку устроил или капкан поставил. Я чувствовал, не пустил тебя.

— Проверить надо, — сказал Русик, дико щурясь и раздувая от возмущения ноздри.

Оттолкнув Юлия, который хотел все же удержать его, он упал животом в траву, быстро и бесшумно пополз к дыре.

Вернулся Русик через несколько минут, отдышался, обильно сплюнул, как при тошноте.

— Г-гад! Бочку железную закопал в землю. Большущую. Замаскировал. А в бочке... из уборной.

— Ну да?

— Понял теперь? Это тебе не тундра, где капканы ставят.

Русик снял с головы Юлия курортную шапочку, украшенную синим якорем и спасательным кругом, сжал ее в кулаке, попросил, чтобы Юлий в случае чего свистнул ему потихоньку, и, не слушая отговоров, снова пополз, уже по примятой слегка траве. Юлий следил за рыжей головой Русика, она то появлялась, то исчезала, видел он ее минуту или две за сеткой изгороди, потом голова, как показалось Юлию, надолго пропала, словно бы стала зеленой и голубой среди зелени и воздуха. Юлий мучил свой слух, до мутных слез в глазах вглядывался в частую рябь железной сетки, у него жалобно ныла грудь.

Только раз с ним было такое, на реке Печоре: отец и два охотника-ненца пошли поднимать из берлоги медведя, а его, Юлия, оставили ждать у большого костра (на огонь зверь не пойдет, если охотники промахнутся). Но тогда все кончилось выстрелами, ревом медведя и тишиной... и жаренным на костре мясом, которое Юлий отказался есть, за что отец назвал его «книжным гением».

Как обойдется сейчас, что ему делать, если вдруг закричит, заплачет Русик? Ведь этот

ласковый хозяин убить может... И едва не разрыдался Юлий, увидев спокойно вышедшего из кустов рыжеголового, конопатого дружка. В руках он держал полную шапочку зелено-желтых персиков.

— Другим ходом вернулся, — сказал Русик. — Там еще дырка есть, в крапиве. Вот. — Он показал красные пятна на ногах и животе. — Пожегся немножко... Иди за мной, хорошее место знаю.

По узенькой тропке, юркой змейкой уползающей куда-то в гору, они поднялись к отвесному глинистому обрыву. Здесь была утоптанная площадка и сразу за нею — маленькая пещера, выдолбленная, конечно, но очень похожая на настоящую. Пол застлан сухой травой, у стенки — деревянные автоматы с железными стволами, пустые гильзы, обоймы, старая пулеметная лента.

— Садись, любимец, — пригласил Русик и засмеялся. — Так старик Шаланда меня называет, иногда других тоже. Тут наш штаб, когда играем.

— Понятно. Отличная пещера.

— Ну. Ешь персики Страхпома. Бери этот, самый желтый, не бойся, бочкой не воняет.

Юлий надкусил теплый, мягкий, пушистый, скрипнувший на зубах — будто по-цыплячьи пискнувший! — персик и зажмурил глаза: кислотой и сладостью сок, почудилось, наполнил его всего, от пальцев ног до кончиков волос. А когда он снова раскрыл глаза, увидел широкий берег внизу, густо устланный загорающими курортниками, мыс слева — с белым маяком под красной шляпкой, мыс справа — где на камнях рыбачит старик Шаланда, а прямо — море и море, сине-зеленое, голубое, дымчатое вдали, где оно сливается с небом, уходящее до самой Турции. Море, пахнущее солью, водорослями, дальними ветрами и персиками.

— Кем твой папа работает? — спросил Русик.

— Буровой мастер. Нефть добывает.

— А мой на танкере «Орел» нефть возит. Здорово, да?

Юлий кивнул, не отводя взгляда, теперь уже почти ослепленного, от берега, моря, дрожащих, колеблющихся в знойном мираже низких кучевых облаков. Даже корабль, показавшийся из сияющей мглы горизонта, тут же словно бы взлетел и начал приближаться, паря над водой.

— Зачем ты этот... вундеркинд?

— Я часто болел, много читал. Сидел дома и читал.

— Потому что море холодное. У нас ты был бы моряком.

— Наверно.

Они съели еще по персику. Крупные шершавые косточки Юлий положил в кармашек на шортах — пусть останется память.

— А эти давай твоей маме отнесем, — сказал Русик. — Она какая-то... непохожая на других... как накрашенная. — Русик тронул пальцами жесткие волосы Юлия: — И ты тоже...

— Северяне же мы. Всегда жили там.

Русик не очень понял это, но расспрашивать не решился — еще подумает, что бестолковый, — лучше спросить потом кого-нибудь, почему так бывает, да и Мать наша Машенька может ему объяснить, а сейчас надо бежать купаться; здесь душно, от травы дурманом пахнет, мутнеет голова. Русик вскочил, цепко схватил за руку Юлия, поставил его на ноги, и вместе они пустились вниз, уже по другой троне, чтобы подальше обойти сад, в котором набрали персиков.

У воды Юлий разделся, они разом бултыхнулись в море. Плавали, выбирались на горячую гальку, снова купались. Смотрели, как за отгороженным пляжем ныряют с вышки спортсмены, как спустили по рельсам спасательную моторную лодку и она, подняв высокий пенный бурун, унеслась в сторону маячного мыса. Потом спросили время у старика удильщика, не торопясь зашагали к своей пристани-купальне.

Шли, швыряли в воду камни, смеялись просто так, дразнили чаек, подражая их жалобным крикам, спорили, у кого больше «блинов» от пущенных по воде плоских

камешков, толкались, бегали вперегонки, заметив ракушку или ветку водоросли...

И вдруг остановились.

На мокром валуне, опустив в море ноги, сидела горбунья. Была она желтоволосая, сидела, откинувшись на тонкие руки, и жидкие волосы лишь слегка прикрывали горб с острыми позвонками... Плечи высоко подняты, грудь ввалилась, подбородок и нос резко выпячены, будто горбунья собиралась что-то выкрикнуть в небо... До черноты загорелая, она почти сливалась с замшелым бурым валуном... Глаза сощурены, а длинные ресницы, как бы не желая уступить носу и подбородку, тянулись вслед за ними. Руки и ноги у горбуньи были похожи на прямые палки.

Юлий выронил из ладони камень.

Горбунья вздрогнула ресницами, медленно повернула на звук лицо, и они увидели, что она девчонка. Большеротая, остроносая, сероглазая — глаза тоже страшно большие, какими-то сплошными пятнами, без зрачков, словно их разбавили морской водой. Горбунья скривила тонкие губы, чуть раздула ноздри, шевельнулась. Почудилось — вот сейчас она закричит на них во весь свой голос или разрыдается от обиды: уставились, дураки, как в зоопарке!

И тогда Юлий вынул из шапочки персик, быстро протянул ей, сокрушенно улыбаясь.

Она взяла персик сухими, длинными, как птичьи когти, пальцами, поднесла ко рту, жадно надкусила широкими белыми зубами. Сок брызнул, потек по ее подбородку, желтая капелька упала ей на грудь. Горбунья по-старушечьи сморщилась от удовольствия, разжевала откушенный кусочек персика и, повернувшись к ребятам, выпучив серые пятна глаз, хрипло расхохоталась. Потом выговорила, задыхаясь:

— Укр-рали! Ты! Ты! — Она ткнула в их сторону скрюченным пальцем. — Укр-рали!

Русик тоже хохотнул, хотел сказать ей, чтобы замолчала, но, увидев, как на зубах у нее перекатывается половинка персика и желтая слюна заливает рот, бросился бежать. За ним, молча и согласно, устремился Юлий.

Они бежали, а вслед им слышался по-вороньи картавый крик горбуньи:

— Укр-ра-а! Укр-ра-а!

МАТЬ НАША МАШЕНЬКА

По крутому склону, через желтые осыпи и зеленые рощицы, с бетонной площадки, где когда-то стояла вышка фуникулера, скатывается к морю протяжный, истонченный расстоянием зов:

— Руси-ик!

Это зовет Русика мама. Сегодня, значит, она смогла освободиться пораньше, приготовила обед, хочет накормить его, побыть с ним «полный часик». Русик поднимает голову, видит на обрыве светлое пятнышко, мерцающее в знойных всполохах, берет сумку, удочку, кукан с наловленными бычками и по длинной поскрипывающей деревянной лестнице идет вверх. Ему кажется, что идет он быстро, но шаги у него маленькие, а ступеньки крутые, и всякий раз мама говорит ему, когда Русик, наконец прошлепав по бетонной площадке, ловит ее руку:

— До-олго ты! Совсем притомился, как старичок.

— Не-ет, я быстро шагал, — не верит ей Русик.

Мама сжимает его шершавую от морской соли ладошку, забирает клеенчатую сумку, удочку, кукан. Они идут сначала по аллее Будынка твирчисты, потом сворачивают вправо, к санаторию «Жемчужина». Здесь давно уже мама работает кастеляншей, и живут они в глиняном домике у стены санатория, собственном домике, доставшемся им от деда.

Крыльцо густо заросло виноградными лозами, над летней кухней — корявый старый грецкий орех (орехи еще в зеленой кожуре, похожи на крупные сливы), дворик маленький, тихий, по краям огороженный колючими акациями. Хозяйства у них почти никакого — четыре курицы и одноглазый петух. Было когда-то больше птицы, да отец Русика, приходя

из плавания, приказывал маме рубить головы «глупым хохлаткам», которые становятся тихими и умными лишь на сковородке, с картошкой. Он же выбил глаз петуху: сделал рогатку Русику, стрельнул сам, чтобы испытать, и выбил. Случайно, конечно. И вообще моряки, особенно «заграничники», не любят заниматься хозяйством. Зато вещи хорошие привозят. У Русика есть сомбреро, кубинские рубашки, старенькие уже, правда; мама надевает дома махровый полосатый халат, а по праздникам — оранжевые сапожки... Другое всякое, кока-колу там, жевательные резинки, кокосовые орехи, волосатые, похожие на обезьяньи мордашки, значки разных стран...

— Мой руки, иди к столу, обедать будем. — Мама несет кукан с бычками под навес летней кухни, кладет бычков в миску, заливает водой; черные рыбешки оживают, выплескивают хвостами брызги. — На ужин тебе поджарю.

В доме прохладно, сумеречно, будто наступил уже вечер; стол застлан чистой клеенкой (это от нее мама отрезала лишний кусок, сшила рыбацкую сумку), и никого нету: Нинуська в детсадике, Иван Сафонович на работе, в своем ателье «Фиалка». Русик ждет и вроде бы немножко дремлет — из него выходит береговой жар, и если не шевелиться, то кажется, что сидишь в теплом невидимом облаке. Есть пока не хочется, но Русик знает: сегодня будет что-нибудь вкусное.

Входит мама, ставит перед Русиком большую тарелку пельменей, залитых растопленным сливочным маслом, сует в руку вилку, а сама садится напротив, подпирает ладошкой щеку, говорит протяжно и негромко, чтобы не вспугнуть тишину, сумерки прохладного глиняного дома, доставшегося им от деда, говорит для одного Русика:

— Кушай, мой Рыжик, пельмешки вку-усные.

Глотнув один-другой, теплый, масляно-душистый, Русик оживает, приваливается к столу и в несколько минут съедает пельмени; бульон, не дожидаясь ложки, пьет через край тарелки. Мама придвигает кружку молока с магазинной маковой булкой, кладет две шоколадные конфеты. Русик смеется, голос у него чисто булькает, будто плещется в кружке молоко, и мама тоже улыбается: она рада, что накормила своего Рыжика, сумела сегодня ему угодить. Ведь у них каждый день борщ и каша, для всей семьи, ничего другого она не успевает приготовить. Без борща, правда, не может жить Иван Сафонович, он ест его утром, в обед, вечером — ему нужны витамины, которыми с детства он мало напитался где-то там, у себя на севере, в Костромской области. А Русику скучно делается, во рту кислая слюна скапливается, если он даже подумает о борще; лучше уж хлеб с сыром или колбасой, когда бывает колбаса, Русику вполне хватает такого обеда.

— Теперь отдохни маленько, пока на дворе жарко. Может, букварь почитаешь, учительница скажет — какой Рыжик хороший, уже читать умеет. А я картошку поокучиваю хоть полчасика, совсем заросла картошка, а так хорошая уродилась, скоро свеженькую будем подкапывать, свою, не купленную, что-то в этом году дорогонько стоит картошечка. Ну, я пойду, а ты позанимайся.

Мама говорит, как напевает, голос ее понемногу глохнет за тихо прикрытой дверью, потом звякает в сенях тяпка, потом мама, словно совсем уже издалека, кричит на кур: «Кши, шалавые, пропасти на вас нету!»

Вяло поднявшись, Русик идет в комнату-боковушку, в свою маленькую комнату, где едва помещаются кровать, белый столик от кухонного гарнитура, табуретка. Когда-то, при деде, здесь был чулан для рыбацких сетей, удилищ, лесок, разной морской одежды, на зиму дед вносил сюда мотор со своего баркаса, и теперь еще пол, дощатые стены пахнут соляркой, пеньковыми канатами, копченой кефалью. Боковушку мама отдала Русику, когда отец целый год не приходил из плавания, а у них стал жить мастер высшего класса Иван Сафонович Кожемякин. Мама будто отселила Русика... нет, не от себя — от новой жизни, которая началась в их доме. Об этом Русик не сам догадался, старик Шаланда сказал: «Квартеру, говоришь, персональную получил? Смотри, чтоб энтот курортник куда подале тебя не спровадил». Но Русик ничуть не боялся закройщика Ивана Сафоновича — у них и раньше поселялись отдыхающие, правда женщины,— зато в своей боковушке он устроил

корабельную рубку: повесил фотографию отца в форменке, тельняшке и мичманке, с маленькими усиками, бородкой и большой, почти мальчишеской улыбкой; у окна прикрепил старое штурвальное колесо, повесил бинокль; на столе положил карту Черного моря и компас, подаренный мамой в день рождения; спасательный круг, побитый волнами, с еле заметной надписью «Строптивый», кусок настоящего пенькового каната, сушеные бычки на гвозде... Мама входила только подмести или протереть пол, Иван Сафонович вовсе не заглядывал, а Нинуська... Нинуськи сначала не было.

В окне неподвижно, как нарисованные, темнеют широкие виноградные листья, за ними — сомлевшие от жары кусты акаций, дальше, если зорко вглядеться, в яркой пустоте, у самой кромки берегового обрыва, синеет, мерцает дневное море.

Русик садится к столу, раскрывает букварь и, водя пальцем по слогам, читает: «Ми-тя мал. Он мял гли-ну. Ва-ля и Ко-ля ле-пи-ли. Моя ма-ма до-яр-ка». Русик рассматривает рисунок: мама-доярка, румянощекая, боевая, в белом халате, блестящих сапожках; она держит полное ведро молока, а позади нее — длинный желтый коровник и много пестрых веселых коров.

«Красивая мама,— думает Русик,— и работа у нее хорошая: подоила коров и отдыхай, пока они напасутся... Кастеляншей труднее. Простыни, наволочки, одеяла, белье, мыло, полотенца — все надо выдать, за все головой отвечаешь. Одни приезжают, другие уезжают, простыни рваные сдают, верблюжьи одеяла воруют. Чертова работа, правильно говорит мама».

Русик хочет представить на месте мамы-доярки маму-кастеляншу, но получается не очень красиво, совсем не для книжки, и он, вздыхая, закрывает букварь.

Со двора сквозь виноградные листья и оконные стекла слышится сухой, частый звяк тяпки о песчаную скрипучую землю.

Ему становится жаль свою маму, обидно за нее, она ведь все равно лучше всех других, только об этом никто не знает. Она вот такая... Но точных, единственно нужных слов Русик не находит, еще сильнее жалеет маму, а когда щеки его заплывают слезами, он ложится на кровать, долго смотрит в дощатый некрашеный потолок, выстроганный давным-давно дедом. И ему видится, точнее чувствуется, ощущается мама — теплым хлебом, молоком, заботой. Она в этой комнате-боковушке, в каждой вещи, в фотографии отца на стенке. Она во всем доме, во дворе и еще в нем, в самом Русике. Ловит Русик бычков, говорит со стариком Шаландой, ворует персики — мама всегда с ним, улыбается, хмурится, журит, жалеет. Он может ее не слушаться, может поспорить с ней, а то и шлепок от нее хороший получит — рука у мамы крепкая, — но она все равно простит и не уйдет из его комнатушки, из дома, из вещей и из самого Русика. Она как воздух морской, который всегда в тебе и вокруг тебя, если ты живешь рядом с морем. О нем не думаешь, но им каждую минуту дышишь.

А с самого-самого начала, как только глаза Русика зажглись от света и он понял, что это свет, мама казалась ему большим белым облаком. Облако наплывало, отдалялось — согревало, если ему было зябко, освежало, если он задыхался в духоте. Белое облако-мама плавало над ним или он плавал в нем, и Русик кричал, если оно исчезало надолго: он хотел жить, а вся его жизнь была в этом большом белом, теплом облаке.

Снаружи, совсем близко, послышалось:

— Ах ты ворюга несчастный! Всю рыбу сожрал! Русик ловил-ловил... Черт чумазый!

По лестнице зачастил мягкий стукоток — нашкодивший кот Базилио спрятался на чердаке.

Надо вставать, идти куда-нибудь. Скоро из ателье явится Иван Сафонович, приведет Нинуську: по пути он заходит в детсад, забирает свою любимую дочку. Она ничего, Нинуська, бывает очень даже смешная, и жалко, если ее обижают, но иногда хочется отлупить эту сестренку: нанесет в боковушку кукол, лоскутов, а рядом с фотографией Русикова отца прицепит большой раскрашенный портрет Ивана Сафоновича. Русик

выбрасывает, она прикалывает да еще лепечет: «Мой папуля луче». Никто не говорит, что Иван Сафонович плохой, это поначалу его не любили соседи, теперь вежливо здороваются, приходят советоваться или заказывают платья, костюмы, если пошить хотят. И мама, которая стала при нем «мать наша Машенька», сказала однажды бабке Соне, жене старика Шаланды: «Хватит, наплавалась со своим моряком, хочу к тихому берегу причалить». Бабка закивала согласно, поругала Шаланду, позабыв совсем, что о ней такая хорошая морская песня поется. Иван Сафонович и сам говорит: «Завоевал достойный авторитет». Пусть. Но у каждого свой отец, и нечего его навязывать другим, даже если это красивый портрет. Русик скоро приделает на боковушку замок, подкопит денег, купит в хозтоварах и приделает. Можно бычками заработать.

Он выходит во двор; под навесом летней кухни на столе расплескана вода. В миске плавают три рыбешки, самые маленькие. Он вылавливает их, идет к лестнице и забрасывает в слуховое окно на чердак, где отсиживается Базилио.

— Жри остальные,— вежливо говорит Русик, словно кот постеснялся съесть всю рыбу сразу, и тут же прибавляет, услышав, как похрустывают рыбьи кости: — Поймаю — шкуру сдеру!

Он берет тяпку, маленькую, купленную для него мамой, напрямик пробирается сквозь колючие акации, за которыми у них огород — клинышек картошки, огуречные и помидорные грядки. Мама уже хорошо поработала, осталось окучить всего шесть рядков. Надо ей помочь, раньше бы прийти и помочь. Потому что весь огород — их забота, мамы и Русика. Нинуська малолетняя, Иван Сафонович — интеллигент, ему нельзя мозоли набивать: резать и кроить материал — «нежное дело, для особо тонкой души, наших людей мы должны одевать чистыми руками, элегантно, красиво и скромно». Раз он попробовал крыльцо подладить — ступеньки провалились да быстро пальцы поотбивал; мама засмеялась, отняла молоток, сама приколотила доски. А так Иван Сафонович хозяйственный, в магазины сам ходит, маме и Нинуське платья шьет, Русику из каких-то «неоприходованных обрезков» моряцкие брюки клёш выкроил.

Взяв тот же ряд, что и мама, только с другого конца, Русик начинает работать: бьет лезвием тяпки в сухую, скрипучую землю, поднимает ее и нагребает на корни картофельного куста. Земля снизу влажная, пахнет береговым илом, кусты осыпаны фиолетовыми цветками; потревоженные, цветки сорят в лицо Русика невидимой пыльцой с желтых пестиков, пахнущих прохладно и резко сырой картошкой. Вот он ударил слишком сильно, разрубил розовый клубень, срез мгновенно заплыл крупными каплями, будто окропила его роса. Русик глянул — не заметила ли мама? — снова наклонился, реже и осторожнее загребая тяпкой.

Посередине они сходятся (Русик спешил, мама, наверное, немножко придерживала себя, и они сошлись точно посередине), распрямляют спины, опираются на тяпки.

— Я бы и сама, Ры-ижик, — длинно и истомленно говорит мама. — Ты почитал бы лучше, а я бы сама. Тут ведь несколько бороздок осталось. Маленький ты у меня еще. А вырастешь и помогать не будешь, как все другие.

— Буду.

— Упрямый ты, как твой батька Максим Задорожко. Только ты в моряки не ходи-и, мало из них серьезных выходит: балованные деньгами, веселой жизнью. Они ведь «по морям, по волнам — нынче здесь, завтра там».

— Пойду.

Мама тихо смеется, сдергивает с головы белую косынку, вытирает лицо, а потом, улыбаясь, молча и долго смотрит на Русика. Она, мама, рослая, темноглазая, и волосы не красит, и брови не подводит, лишь кремом мажется немножко, чтобы лицо от солнца «как у арапки не стало». Красивая мама. Нет, вовсе не Русик так считает — он-то точно, пожалуй, не знает, красивая ли она,— другие говорят. Соседки, мужчины отдыхающие. Иной раз просят: «Рыжик, познакомь с мамой». Бывают такие дяди, что очень даже хочется познакомить. Русик сказал однажды: «Мам, с тобой хочет позна...» — и получил шлепок по

затылку.

Почему-то сейчас ему припомнился этот случай, прошлогодний, дядя из Москвы, бородатый, но молодой, спортивный, всегда веселый — он плавал дальше всех, ему кричали со спасательной станции: «Гражданин, вернитесь в зону купания!» Он ходил в мировецком форменном костюме, какого никогда не сшить закройщику Ивану Сафоновичу, а главное, он был летчиком с «ИЛ-62», — и Русик, ощутив тот шлепок по затылку, обиду (ничего же он плохого не сделал, наоборот, хотел угодить маме — такой дядя стесняется к ней подойти), насупившись, сказал:

— Ты Мать наша Машенька, вот!

Мама так же тихо и длинно рассмеялась, глядя суженными, совсем затемнелыми глазами на Русика, провела ладошкой по его жестко засолоневшим от морской воды волосам.

— Рыжик, ежик, дурачок! Я все равно люблю тебя.

Он мотнул головой, рука мамы соскользнула ему на плечо.

— И закройщика...

Это выговорилось как-то само собой, первый раз, Русик не хотел вовсе упоминать Ивана Сафоновича, просто не забывал о нем, и всё, и теперь чуть приподнял плечи, отчего рука мамы сделалась вдвое тяжелее, отвернулся, ожидая резких слов или того хуже — приказа уйти с ее глаз, а потом быть до конца дня одному, жалеть себя, сердиться на всех, придумывать, как помириться с мамой или еще больше досадить ей, чтобы помнила: есть у него отец, он в плавании, может в любое время вернуться и спросить: «Кто здесь обижает моего сына?» Но Мать наша Машенька опять положила ладошку на голову Русика, слегка запрокинула его лицо, глянула пристально и удивленно, словно не веря себе — он ли, Русик, перед нею? — губы ее, стиснутые до мелких морщинок, расслабились в грустноватой, еле уловимой улыбке, спокойно, даже ласково выговорили:

— Он же ушел от нас, понимаешь? Женился на дочке капитана с «Орла», понимаешь? У него уже своя дочка, как наша Нинуська... Или лучше не понимай, зачем тебе это, маленький? Давай работать... Когда работаешь, про все забываешь, жизнь незаметно идет.

Мама пошла к акациям, начала новый ряд. Русик взял другую бороздку, чтобы не сходиться и не встречаться посередине — хватит ему сегодня разговоров, да и мама запечалилась: была веселая, быстрая, а теперь едва поднимает тяпку. Зачем им такая «душевная беседа»? Ну, знал Русик, говорил ему Витька-дуроход, другие мальчишки подшучивали, что отец никогда не вернется к нему из долгого плавания. Не очень верил он им — злятся, если чего-нибудь не дашь или не захочешь персики у Страхпома воровать. Это мелкие пустяки. Вот мама сказала — другое дело... На дочке капитана с «Орла»... Значит, капитан заставил, приказал... Ведь отец простой матрос, хоть и первого класса. Может, надо его выручать, а не сердиться на него?

Русик поднимал и опускал тяпку, хорошо наловчился — не резал клубни, не придавливал землей кусты,— и размолвка с мамой уже почти не помнилась. Правильно говорит Мать наша Машенька: жизнь незаметно идет, когда работаешь; и солнце, весь день горячо висевшее посередине неба, вдруг спряталось, подмигивая, за кирпичную стену санатория «Жемчужина». Оно еще долго будет полыхать над морем, но здесь, на их маленьком дворе, сразу стало прохладно, ветерок пробрался сквозь акации, залепетал горячими виноградными листьями, точно спал под обрывом, где пещеры, прохладная глина, проснулся, прихватил с берега водной свежести, принес — и нате вам, мне не жалко, я тоже должен работать. С чердака сошмыгнул черный кот Базилио. В санаторной роще, провожая день, негромко и тоскливо прокричал дикий голубь-вяхирь: «Ку-у-гук!»

— Все, — сказала мама. — Спасибо тебе, Рыжик. Такое дело сделали — как гора с плеч. Потом выберем время, помидоры подвяжем, а то, видишь, валятся, гнить будут.

Она стоит рядом, горячая, пахнущая горьковатой травой — дергала ее руками, ладошки зеленые, — и ситцевым платьем, промокшим под мышками. Русику хочется припасть к ней головой, замереть на минуту, поплакать, чтобы она не видела, но почувствовала и простила

ему все-все сердитые слова, которые сами по себе, откуда-то изнутри поднимаются, душат горло, и Русик не может удержать их на языке. Она молча кладет ему на плечо руку, тяжелую, отдыхающую, прижимает его к себе, ведет в дом.

— Мой Ры-ижик, — опять, как во время обеда, протяжно и негромко напевает мама, достает из холодильника графин кваса, наливает два стакана, один дает Русику. — Сердиитый мо-ой мужичок. Нам ведь до-олго с тобой жи-ить. И ты все-о поймешь. А пока зачем тебе, а-а? Живи, бегай, радуйся, а я буду тебя люби-ить.

Русик глотал кисло-сладкий квас — ему казалось, что он высох, как растение, теперь поливает себя и оживает, может даже весь зазеленеть свежими листьями, — слушал и почти не понимал маму, лишь бы она говорила-напевала, была рядом, и всегда дома было тихо-тихо, как сейчас, и он поймет ее, научится понимать, ведь им до-олго вместе....

Сухо хлопнула калитка, застучали шаги, сквозь виноградную сумеречь проник в оконное стекло звучный голос:

— Вот мы и дома, доченька! Почему же не встречает нас Мать наша Машенька?

ВИТЬКА-ДУРОХОД И ТАНКЕР «ОРЕЛ»

Витька шел в тельняшке с закатанными рукавами, в старенькой мичманке, но с надраенным большим крабом, в потертых джинсах и ботинках на желтой микропорке. Руки он держал глубоко в карманах, будто боялся, что свалятся брюки, на нижней губе у него, как приклеенная, дымилась папироска. Он шел по пляжу, вздернув нос и разглядывая из-под прищуренных девчоночьих ресниц загорающих и купающихся. Небрежно так, словно бы до глубины души поражаясь, чего они тут копошатся, визжат, когда есть в жизни другие, очень важные дела, Витька сплюнул, не вынимая изо рта папиросы; плевок едва не шлепнулся в зонт над толстой, красно обгоревшей тетей.

Его, казалось, не смог бы остановить пограничный патруль из трех вооруженных автоматами солдат, и потому Русик негромко, без особой надежды окликнул, бросив удочки и вытерев о трусы руки:

— П-привет, Витька!

Придержав шаг, Витька глянул вниз и чуть поверх Русика, минуту помедлил, точно вспоминая, кто такой этот человек, осмелившийся его остановить наглым панибратским приветствием. Затем он выплюнул сгоревшую папиросу, провел языком по иссохшим губам — они у него тоже были припухлые, нежные, девчоночьи, — протянул руку, жестко стиснул Русику пальцы и выговорил с хрипотцой, вроде простуженный от морской непогоды:

— Здоров, феринка.

Раньше Витька называл всех, кто младше него, салаками, сегодня назвал Русика феринкой — самой маленькой рыбешкой в море. Значит, гордый очень. Или денег заработал, или на судно матросом поступил, или... Русик не мог угадать, какое еще более значительное «или» произошло с Витькой, от него всего можно было ожидать: он личность известная, его знает вся Шестнадцатая станция Большого Фонтана, все рыбацкие поселки вокруг. С детства его кликали Витькой-мореходом — никто лучше не ходил под парусом, не знал так хорошо типы военных и торговых кораблей, не презирал так штормы и ураганы, — но, когда за кражу спасательного катера Витька отбыл два года детской трудколонии, а потом трижды его снимали с пароходов дальнего плавания (раз он доплыл до Босфора), слово «мореход» заменили на «дуроход». Нет, Витька не переменился особенно, только серьезнее стал: этой весной он получил паспорт и мог законно записаться матросом, хотя и не совсем настоящим — учеником пока. Мог работягой в торговый порт или подать заявление...

— В мореходку поступаю, понял? — так же чуть поверху оглядывая Русика, сказал Витька и сунул руку в карман. — Документы сдал.

— Ой, мир-рово! Я подумал... Честное слово, подумал, что, может, в мореходку поступаешь?

Русик прокричал это громко, сидевшие и лежавшие рядом курортники повернули к ним

лица и с особенным интересом посмотрели на Витьку, что очень понравилось ему, и он, слегка зардев щеками, небрежно вынул сигареты «Опал», сунул одну в губы, прикурил турецкой зажигалкой.

— Ну, чем занимаешься, малец? — спросил, выпустив изо рта дым и прижмурив длинные ресницы.

— Бычков ловлю... Краба, смотри, какого подцепил!

— Примитивное занятие.

— Да, противное,— согласился Русик,— ничего интересного.

И вдруг он вспомнил, да он и подумал сразу, как только увидел Витьку-дурохода, но позабыл об этом за разговором: надо попросить, чтобы помог Витька встретиться ему с отцом. Он ведь каждый день бывает в порту, знает наизусть все торговые пароходы.

— Вить, — тихо выговорил Русик. — Вить... ты не видел — танкер «Орел» пришел из загранки?

— Зачем тебе?

— Папка у меня там...

— Так бы и калякал. Повидаться хочешь?

— Очень надо.

— А он тебя примет на высоком уровне?

— Ну да. Он же отец!

— Понятно, — кивнул Витька, задумчиво покурил, глядя в гладкое и теплое сияние моря. — Кажется, стоял вчера на рейде. Точно, «Орел». Такая ржавая посудина?

— Наверно.

— Так, помыслим. Тебе, значит, надо? А что я буду иметь с этого?

Русик схватил брюки, сунул руку в карман и протянул на ладошке три рубля металлическими монетами.

— И еще, — зашептал он, придвинувшись к Витьке. — Страхпом бочку с дерьмом возле дыры вкопал. Я проверил. Для тебя слазию, фруктов нагребу. И... и верный буду.

— Трояк... — размышлял Витька, будто не слыша горячих слов Русика. — До порта нам двадцать монет, оттуда двадцать... Закусить, то да се... Ладно, — шлепнул он по голому плечу Русика. — Свой рупь добавлю, поехали!

Русик мгновенно оделся, они зашагали в гору, съели из клеенчатой сумки бутерброды с сыром, выпили бутылку кваса, а сумку и удочку спрятали в пещеру на обрыве.

Решили ехать автобусом («Трамвай, — сказал Витька, — транспорт пенсионеров»). Ждали недолго, с полчаса, зато влезли первыми и места заняли впереди — чтобы обзор был, как из ходовой рубки корабля.

Справа замелькали кирпичные, решетчатые, беленые изгороди и арки санаториев, пионерских лагерей, туристских баз, тесно занявших весь берег Большого Фонтана; слева — домишки частников, которые еще недавно были деревенскими, виноградники, огороды, во дворах — пристройки, надстройки, крашеные вагончики для приезжающих без путевок. А потом, за Шестнадцатой станцией, начался город: стеклянные магазины, киоски, белые высокие дома, праздничный народ, словно всегда тот же, беззаботный, живущий на асфальтовых улицах, среди чистеньких бульваров, кафе, ресторанов, кинотеатров.

— Знаешь, — заговорил Русик, чтобы скрыть свое смущение перед городом: он ведь редко выезжал со своей окраины, — я познакомился с вундеркиндом. Из тундры приехал, в Будынке живет.

— Это которые всё знают? Киберы?

— Ага. Такой умный и бледный.

— А ты спроси — откуда он взялся? Скажет, в капусте мама нашла. Дохляки. У них весь ум из книжек.

— Не-е, он ничего. Мы с ним у Страхпома персики воровали. Правда, трусил немножко. Ты помни: Страх бочку вкопал.

— Ха! Спасибо за информацию. Я ему в эту бочку дохлую собаку бросил. Не вытерпит. Свой запах терпит, этот — не сможет!

Русик засмеялся, понимая, как здорово придумал Витька: в такую бочку да еще собаку! Надо не забыть рассказать Юлию, ничего подобного он наверняка не знает и не слышал. Вундеркинду не придумать!

За домами и парками открылся темно-синий, мерцающий солнцем клин моря с парусниками и белым теплоходом. Витька вгляделся, вздохнул чуть расстроенно:

— «Молдавия». Позавчера на трехчасовую прогулку ходил в открытое море. Билет два шестьдесят. Шик пароходик! Ресторан первого класса, бар-алле, музыкальный салон — седой дядька на пианино шпарит, оркестр и танцы на верхней палубе. Коктейль «Южная ночь» выкушал: виски, коньяк, шампанское, сок манговый. Воображаешь?

— Не-е.

Витька сидел, широко расставив ноги в джинсах и положив локти на спинку кресла, сдвинул к затылку мичманку, из-под которой выпала, полуприкрыв глаза, русая прядь нестриженых волос, и поглядывал пренебрежительно на остро сверкающие автобусные стекла. Город он знал отлично. Чтобы не скучать, объявлял Русику, как экскурсовод:

— Пятая станция — овощной рынок, санаторий «Аркадия» — лучший пляж в стране, киностудия наша — здесь снимался Высоцкий, вокзал, центральный рынок «Привоз» — все идет, что привез!

На площади Мартыновского они пересели в другой автобус и вышли у ворот торгового порта. Здесь Русик никогда не бывал и удивился и растерялся: пассажирский порт со стеклянным морским вокзалом, высокими причалами, асфальтовой площадью, въездами для машин красив, прост и понятен, а этот, торговый... да тут заблудиться в два счета можно! Пирсы, затоны, волнорезы, всюду ползающие, размахивающие стрелами краны, катера-буксиры, мачты, трубы огромных кораблей, ржавые борта, белые рубки, заграничные флаги, грохот, дым, пар. Люди маленькие, едва заметные, даже автомобили ползают, как растерянные глупые жуки. И вода у пирсов темная, густая, будто в ней разбавили асфальт, с фиолетовыми мазутными озерами. Русик слепо нащупал руку Витьки, чуть потянул к себе:

— Вить, может, не надо?..

— Чего? — не понял он, зорко глядя в провал ворот, у левого края которых, рядом с желтой будкой, стоял вооруженный вахтер — проверял бумаги у въезжавших в порт и выезжавших шоферов. — Главное, туда попасть, — шепнул он и указал на грохочущий причал за воротами: — Следи, делай, как я, по-моряцки. Вон видишь грузовик? Как загородит рылом ворота — прыгаем в кузов. — Он оттолкнул дрогнувшую руку Русика. — Ну, не трусь. Порт не страшнее Страхпома.

Машина поравнялась с ними, затем немного прошла вперед, притормаживая перед вахтером, и они вскарабкались в кузов. Борта были высокие, но Витька поднял край брезента, комканно лежавшего у кабины, скомандовал взмахом руки: «Лезь сюда!» Они слышали голоса охранника и шофера, вахтер осматривал кузов, став ногой на баллон, и наконец машина качнулась, пошла, потом мягко зашуршала по ровному бетону пирса.

Выпрыгнули под стрелой крана, уже державшего на тросах контейнер, юркнули к навесу цинкового пакгауза и не спеша зашагали в конец причала, где между пирсом и волнорезом густо набились самые разные суда.

— Вон он, твой «Орел», — сказал Витька. — Пришвартовался вторым бортом, любуйся и радуйся!

Да, вторым от причала, за таким же ржавым, огромным, с высокой рубкой в самой корме танкером, стоял «Орел». Название было написано еще по-иностранному. И на каждом спасательном круге, даже на палубных ведрах выведено белой краской: «Орел». Русик впервые видел так близко танкеры и удивился их громоздкости и неуклюжести. Казалось, они вовсе и не корабли — какие-то железные, непонятной формы плавающие понтоны, а ведь издали, когда смотришь с берега, танкер похож на длинную торпеду, четкий, разумный весь, с мощным буруном перед носом.

— Глянь, тебе повезло,— толкнул его локтем довольный Витька. — Команда не разбрелась, недавно ошвартовались. Пошагали в гости.

На ходовом мостике, сцепив руки за спиной, неспешно похаживал толстый моряк в галстуке и белой фуражке; иногда он брал мегафон и что-то кричал на палубу громко, непонятно. Матросы, одетые в синюю робу, скручивали круглыми бухтами канаты, стопорили лебедку, убирали ведра, ящики. Вот уже и нет никого, команду словно волной смыло, попрятались в кубрики, лишь выхаживал степенно багроволицый моряк по краю мостика.

С причала на борт танкера был переброшен деревянный трап, Витька ступил на него и, видя, что Русик трусит, схватил его за руку. Они прошли по гулкому железу первого танкера, а на «Орел» перепрыгнули: суда стояли, тесно притертые бортами, их разделяли только резиновые баллоны-кранцы. Тут же сверху обрушился мегафонный гром:

— Куда направился детский сад?

В тишине, звонкой от плескавшихся где-то внизу маленьких волн, прозвучал тоненький голос — Витька сложил ладони рупором, крикнул, задрав голову:

— Нам матроса первого класса Задорожко! Сын к нему пришел! По очень важному делу, товарищ капитан!

— Боцман Задорожко! — рявкнул мегафон. — На выход!

Не успел Русик толком осознать и порадоваться за отца — он ведь теперь боцман! — как появился моряк в кителе, мичманке, черных наглаженных брюках (успел, видно, переодеться для берега), издали, от надстройки, глянул в их сторону и, явно ничего не понимая, медленно приблизился к ним. Был он невысокого роста, зато плечист, с крупной головой, крепкой шеей, загорелый — сквозь загар на щеках и носу еле заметно проступали конопушки, из-под мичманки рыжел жесткий чуб.

— Он, — шепнул Витька. — Твой.

Моряк минуту смотрел на Русика и Витьку рассеянно, затем отвел взгляд, словно ища того, настоящего, кто вызвал его на палубу, снова с неохотой воззрился на них серо-голубыми, невозмутимо спокойными глазами и спросил, чуть наклонившись вперед, — от него свежо пахнуло одеколоном:

— Вы к кому, ребята?

— К вам, товарищ боцман! — сказал громко Витька и подтолкнул Русика, замершего, одичалого, распустившего губы в глуповатой и счастливой улыбке. — Это ваш сын, Руслан по имени.

Резко выпрямившись, будто его обидно оттолкнули, моряк закинул за спину руки — к нему уже тянулся Руслан, чтобы крепко пожать ладонь отцу-боцману, — глаза у него притухли под беловатыми ресницами, губы сжались, кажется, чуть побелели и, почти не шевелясь, выговорили:

— Так. Понятно. Тебя мать послала? Да?

— Не-е... — не слыша себя, вымолвил Русик.

— Чего ей надо? Ну? Говори?

— Мы сами, честное слово! — Витька вплотную подошел к боцману, ткнул себя кулаком в грудь. — Он хотел вас увидеть, говорит: папа очень нужен.

— Вспоминаю, ты Витька-дуроход с Шестнадцатой. Ты все и придумал. Теперь слушай сюда. — Боцман положил короткие, тяжеленные руки на тощие Витькины плечи, повернул его спиной к себе, скомандовал: — Шагом арш! И не оглядываться!

Витька послушно двинулся к борту танкера, а Русик, все еще держа на губах улыбку, чего-то главного не осознавая, чему-то не веря, ловил взгляд отца — ему чудилось, вот сейчас он посмотрит на него, узнает, скажет: «Привет, Русик!» — пригласит в каюту... И отец глянул на него притухшими, придавленными белесыми ресницами глазами, блеснувшими лишь на мгновение, сказал почти совсем спокойно, даже заботливо:

— Скажи матери — деньги скоро получит, переведу. Задержал. Долго в плавании был. Иди.

Возле борта Витька схватил ладонь Русика, помог ему перепрыгнуть на соседний танкер. Они побежали к трапу, гремя ботинками по железной палубе, а позади слышался смех, улюлюканье собравшихся вокруг боцмана матросов:

— Держи их за уши!

— Ах, зайцы соленые!

— В комендатуру их!

— Пусть утикают. Таким любые заслоны нипочем!

На пристани Витька остановился, сжал чумазый кулак и погрозил гоготавшим «орловцам», среди которых уже не было боцмана; толстый белый капитан, похожий на моржа, медленно спускался по железному трапу, ухмыляясь в седые усы.

До ворот порта они шагали в медленном потоке груженых машин, ворота проскользнули, когда впритык остановилось несколько грузовиков и вахтер делал выездные пометки шоферам.

Сели в автобус, сошли на улице Дерибасовской. Отдохнули под деревьями возле фонтана: водяная пыль освежала, как мелкий дождичек в солнечный день. Платаны никли от духоты, стриженая травка сверкала росой. Витька, вольготно подремав минут десять, сказал, вяло отринув ладонью что-то невидимое:

— Официальная часть закончена. Перейдем к нормальной жизни. — И запел, озирая уличную толчею: — «Как на Дерибасовской, угол Ришельевской, в девять часов вечера разнеслася весть...» Кстати, ты знаешь, кто такой был Дерибас? Феринка-малютка! А живешь в таком великом городе. Дерибас был второй человек после Кутузова, понял? Наполеона чуть в плен не взял. Знать надо народных героев!

Русику захотелось домой, в свой тихий двор, в свою комнату-боковушку. Он бы сейчас лег и уснул. Спал бы долго, потом проснулся от голоса мамы и все позабыл. Уж очень Русик терялся среди шума, пестроты, движения больших улиц, чувствовал себя маленьким и несчастным: его устрашали громоздкие, потемнелые от времени дома, хоть и красивые, он был никому не нужен в уличной толпе, что-то покупавшей в жаркой тесноте магазинов, евшей и немо говорившей за стеклами кафе и ресторанов. Русик любил свой берег, знал всех живущих н а нем, и они знали, что он тоже есть на свете. Даже Страхпом ему казался сейчас вполне терпимым мужиком.

Витька поднялся, туже затянул брючный ремень, вынул из кармана три рублевых монеты с мелочью.

— Потопали, развлечемся культурно.

Едва поспевая, Русик бежал за Витькой, а тот вышагивал широко, не увертываясь от прохожих, лишь иногда, толкнув нарочито патлатую девчонку, говорил грубовато: «Пардон, мадам!» Он шел как хозяин по собственной улице, небрежно жуя папиросу, сощурено оглядывая киоски, витрины, презирая людскую суету; купил два вафельных мороженых, сунул молча одно Русику и также по-хозяйски, будто прибыл к двери родного дома, остановился у подвальчика с надписью «Гамбринус».

— Приглашаю. Лучшее пиво. Рванем по кружечке для успокоения нервов.

— Н-не знаю... — мотнул головой Русик, прилепившись глазами к медному квадрату, на котором была выбита лохматая, скуластая, с заплывшими веками хохочущая физиономия. — Кто это, а?..

— Пивной бог, Гамбринус. Ну, давай лапу!

Они спустились по каменным ступенькам, протиснулись в темноватый распахнутый вход, тут их придержал, надвинувшись животом, толстый швейцар в полотняном костюме с желтыми нашивками; Витька негромко, словно доверяя тайну, сказал: «Он со мной», — и ссыпал швейцару в подставленную ладонь мелочь. Сопутствуемые его нежными кивками, они прошагали под низкие своды знаменитого пивного заведения.

Горели лампы в красных, синих, зеленых светильниках, вместо столов у стен стояли большие дубовые бочки, вместо стульев — бочата. Были и столы с длинными лавками, но дальше, у мозаичной стены, просвеченной электричеством. Напротив буфета — маленькая

сцена или просто подмостки, пианино, барабан на железных ножках. Пахло теплой кислотой пива, вяленой рыбой.

— Швартуйся,— подтолкнул Витька к бочонку в углу, и Русик ойкнул, больно ударившись о жесткий круг, обтянутый обручем, а Витька хохотнул: — Ясно, не мамина перина, для мужчин.

— Сколько тебе, мужчина? — спросила официантка, держа позади Витьки поднос, плотно уставленный кружками с потрескивающей пухлой пеной.

— Пару. И зажевать — пивных палочек.

— За палочками сходишь сам.

— Грубит, — вздохнув, пояснил Витька. — Думает, паспорта не имею. — Послушно встал, сходил к буфету, принес блюдце коричнево зажаренных хлебцев, действительно похожих на палочки. — Пива хлебнешь малость?

Пить очень хотелось, Русик наклонил кружку, глотнул раз-другой и отшатнулся: горечь обожгла рот и горло, кажется, затрещала пивной пеной в голове, выступила слезами на глазах. Он закашлялся, обеими ладонями посунул от себя кружку.

— Понятно. Хрумкай палочки. Потом квасу куплю.

Хлебцы были черствые, соленые и невкусные. Русик жевал, лишь бы не сидеть просто так, разглядывал пивбар, посетителей, пивших много, еле видимых за мутными рядами стеклянных кружек, но тихих, говоривших негромко, вежливых с официантками. А Русику думалось, что в «Гамбринусе» — шум, крики, музыка, духота, драки. Может, вечером разгуливается народ? Когда придут портовики и матросы?.. Он ведь слышал о знаменитом пивбаре по рассказам старика Шаланды, который раньше бывал здесь каждый вечер, а теперь, постарев, навещает только по большим своим праздникам или после хорошего заработка.

Витька выпил кружку, мечтательно похрумкал палочку, зеленоватые девчоночьи глаза его сделались еще округлее, налились влагой, и он уже не мог пригасить их темными девчоночьими ресницами.

— Между прочим,— сказал он, чуть заикаясь,— один большой писатель любил здесь посиживать. До революции. Фамилию позабыл. Правда, говорят, пивбар был не совсем на этом месте, но это мелочи, Руслан. Главное, у классика произведение есть, «Гамбринус» называется. Собираюсь прочитать...

— Расскажешь потом?

— Само собой.

— А здесь дерутся?

— Бывает. Да ты не грусти. Хочешь, посидим часика полтора, и твой боцман явится. Они все тут отмечаются, когда в порт приходят.

Русик вскочил, бросил в блюдце надкусанный хлебец.

— Пошли, Вить, я замерз тут.

— Сядь и не переживай. Сейчас потопаем. Я этих отцов сам ненавижу. Мой тоже плавает, десять лет. А дома поговорить толком не умеет, все жить по-человечески учит. А сам — человек, скажи?

— Мой — человек.

— Твой? Да! Нагляделись сегодня!

— Не-е, это не он. Не папка. У этого и бороды нету, этот совсем не похож на моего папку Я тебе фото покажу.

— Ну даешь, феринка-малявка! Так рассуждают папуасы с каких-нибудь коралловых островов. Ты же не видел его почти четыре года. А когда видел, тебе тоже было три. Чего мог запомнить?

— Не-ет, я все помню!

— Хвалю, фантазия хорошая, может, писателем станешь со временем. Не возражаю. Опишешь наши похождения.

Вторую кружку Витька не допил, с сожалением отодвинул — зря взял, перед

официанткой порисовался, — встал, оставил на бочке рубль, сгреб с блюдца хлебцы, высыпал Русику в кармашек рубашки:

— Умные хлебом не бросаются, дожрем в автобусе.

Они выбрались под высокое солнце, в тепло и толчею улицы. Все сверкало, двигалось, напоминало отдаленный шум негромкого морского прибоя. Русик, побывав в баре-подвале, вроде бы лучше стал видеть: вот старинная, с узкими продолговатыми окнами гостиница «Спартак», кипящий народом магазин «Пассаж», дальше, если свернуть налево, — театр оперы, словно вылепленный, а не построенный, похожий на огромный торт, облепленный фигурками, красивый и немного пугающий: можно ли в него войти?.. Они шагают, размахивая руками, легко увертываются от встречных, пьют квас из белой бочки, едят мороженое; на улице Ласточкина стремительный Витька резко останавливается, читает вывеску, громко, словно видит ее в первый раз:

— Музей Морского флота.

Пушка и якорь у одного края фасада, у другого — глазастый маячок.

— Зайдем, что ли?

Русик немо кивает, ловит и сжимает ладонь Витьки, чтобы он вдруг не раздумал — когда, с кем попадешь в этот музей, самый замечательный, самый морской на свете?

Берут билеты за десять и за двадцать копеек, проходят в первый зал. По стенам развешаны картины морских сражений, на стендах, столах — деревянные корабли прошлых веков. Хоть и маленькие, но настоящие, а ботик Петра Первого — почти с баркас величиной, садись и плыви. Русик трогает мачты, парус ботика и отдергивает руку, будто обжигается,— дежурная тетя гулко говорит:

— Касаться руками нельзя, это ценные экспонаты. Отниму билет и выпровожу такого невоспитанного!

Во втором зале — корабли поновее, уже с паровыми топками, большущими трубами. А потом — сплошь современные. Тут Русик потерял Витьку, разглядывая продольный разрез дизель-электрохода «Обь» со всеми внутренностями — трюмы, машинные отделения, надстройки, каюты, кубрики. Очень долго он стоял около двух пингвинов и, желая увериться, что птицы неживые, погладил их черные головки и белые мягкие, словно меховые, животы. Рассматривал рыбацкие сейнеры, торговые сухогрузы, а возле макета супертанкера замер минут на десять: все-таки это красивое судно, особенно если видишь его в море или таким маленьким.

— Вот ты где! — сказал Витька, появляясь откуда-то из-за экспонатов. — Пойдем покажу настоящую капитанскую рубку, и хватит.

— Смотри, — в забывчивости Русик тронул танкер, — на таком мой папка ходит, матросом первого класса.

— Плюнь на красивую мечту. Нам жить надо. Потопали, время у меня кончается.

— Точно. Он перешел с «Орла».

— Ладно, перешел, переполз, перелетел — согласен. Мне домой надо, матери обещал грядки полить.

За стенками темной комнаты сочно шумело море, в широких иллюминаторах капитанской рубки мерцали ночные огни города, виднелся и мигал белый маяк у выхода на рейд пассажирского порта, по всему берегу теснились черные силуэты домов, над ними вздымался купол оперного театра, густая синева моря колыхалась, и чудилось, качается рубка, качается палуба корабля.

Русик покрутил штурвал, направляя судно в просвет между маяком и волнорезом, осмотрел компас, локатор, пощелкал кнопками ходовых приборов и покорно, как под конвоем, зашагал впереди Витьки. Молчаливо, не глядя по сторонам, они покинули музей, умопомрачительно пахнущий железом, крашеным деревом, морской жизнью.

В автобусе ехали тоже тихо, только Витька поглядывал на шоферские часы в кабине, вздыхал. Перед Шестнадцатой станцией он встал — ему здесь выходить,— сунул Русику в

руку рубль, кивнул, чуть улыбнулся:

— Держи. Считай, по паре карбованцив истратили. Не грусти, феринка, большой рыбой вырастешь. Увидимся на нашем берегу!

ЗАКРОЙЩИК ИЗ КОСТРОМЫ

В субботу Иван Сафонович ходил в баню, парился дорогим березовым веником — их издалека откуда-то привозят, — по пути домой покупал четвертинку водки. Поспевал как раз к обеду и сначала пил квас, а уже потом принимался за борщ. Хлебал, утираясь полотенцем, багровея носатым, пухлым лицом, облегченно поохивая. «Заморив червячка» (водочка должна ложиться мягко!), наливал хрустальную рюмочку на высокой ножке. Мать наша Машенька ставила перед ним блюдце с ломтиком ржаного хлеба и кусочком сочной селедки. Иван Сафонович долго любовался сверканием чистой жидкости в рюмке, принюхивался сладко. Затем, словно осмелившись на очень значительный поступок, кивнув самому себе, вливал водку в рот. Зажмурившись, притаив дыхание, он замирал на целую минуту, как хороший ныряльщик под водой, и вдруг выдыхал из себя блаженно: «Ах, и покатилась, родненькая!»

Иван Сафонович выпивал четвертинку не жадно, но ни с кем не делясь: пусть зайдет сосед, завхоз санатория или сослуживец из ателье «Фиалка» — он усадит в кресло, побеседует, а сам будет принимать но глоточку, вкусно занюхивая ржаным ломтиком. И это потому, что Иван Сафонович — мужчина непьющий, принципиальный враг алкоголя. Его четвертинка после бани — исключительно для лечения.

От водки он добреет и хочет непременно видеть перед собой все семейство, празднично приодетое, довольное, тихое и внимательное. Мать наша Машенька садилась напротив, что-нибудь штопала или вышивала — Иван Сафонович научил ее вышивать крестом, внабивку, еще как-то, — Нинуська взбиралась отцу на колени и съедала столько конфет, сколько он поднимал рюмочек, это у них складно получалось. Русик тоже сидел за столом, поближе к двери, листал книжку или рисовал военные корабли: суббота такой семейный день, все равно не сбежишь на море, пока Иван Сафонович не допьет четвертинку и не отправится отдыхать.

Но сначала он должен поговорить обстоятельно, высказать свои разные суждения о жизни. Приняв последнюю, налитую до краешков, сладкую, как и самая первая,— у него получается всегда ровно пять рюмочек,— он аккуратно доедает хлеб и селедку, выжидает минуту-другую, чтобы ощутить полное тепло и сытость в желудке, затем начинает, задумчиво улыбнувшись, водянисто, сожалеючи глядя на Русика:

— Возьмем, к примеру, море. Что есть данный предмет при ближайшем рассмотрении? Вода. К тому, заметь, соленая. Какой человек может находиться на море? Правильно думаешь: как та же вода — куда ветер подует, туда и бежит. Иной принцип — воздух здешний полезный. Я, к примеру, из России, имею заболевание — бронхиальная астма. Лечусь успешно. А чтобы свою профессию, заметь, очень даже ценную по теперешним зажиточным временам, переменить — мысли такой мелкой не завожу. Человек по земле, которая не качается, должон ходить, дело крепко в руках держать. Надежное дело — зажиток. Зажиток — уважение, почет в обществе. К примеру, Мать наша Машенька, женщина на вид симпатичная, молодая, почему за меня пошла? Я ить квартировал, как любой-каждый, приехавший поправить пошатнувшееся на севере здоровье. Конешно, обходительный я, грамотный, любезный. Но это, заметь себе, вторая сторона человека. Первая — непьющий, дело крепко в руках держу. Копейку считать умею. Домой являюсь в определенный час. Да ей эти, которые по морям-океанам шастают, заграничные рестораны посещают, а домой в пароходной робе на четырех лапах добираются, — надоели ей эти. Женщина какое существо? Ей обстоятельность по нраву, чтоб мужик возле нее сидел, хозяин строгой нужон. Как сейчас помню, прибрел твой матрос первого класса, меня приметил, кричит: «Кто? Может, вместо меня квартирует старикашка?» — «Хотя бы», — смело отвечает...

— Иван Сафонович,— негромко окликает его и чуть хмурится Мать наша Машенька,— прошу вас...

— Понимаю и извиняюсь душевно. Лично перед вами. Увлекся сурьезной беседой, мальцу ни к чему наши тонкие отношения жизни. Однако доскажу назревшую мысль в другом плане. Я почему с тобой беседую, Руслан? Чтоб не стремился за своим непутевым батькой в моря-океаны. Чужие страны, они для турков. Подрастешь — в ученики приму, постепенно в мастера выведу из глубокого уважения к твоей матери. Жизнь проживешь сухую, зажиточную, уважительную в обществе. Вот и прикинь, хоть умственная недоразвитость в тебе еще, где надежнее сурьезному человеку: на сухой земле или на соленой воде?

Теперь, время пить чай Ивану Сафоновичу. Мать наша Машенька ставит шипящий пароходным паром самовар, вверху, на конфорку,— фарфоровый чайник с заваркой, всем чашки и блюдца. Иван Сафонович наливает себе первый, берет сахарные щипчики, колет цукор маленькими кусочками — как раз на язык, на два-три глотка чаю. Держит блюдце, как в кинофильмах про старую жизнь, растопыренными пальцами, перед суровым лицом, будто изучает, пробует на вкус незнакомый напиток. Пьет с прихлебом, чмокая, утираясь махровым банным полотенцем. Обильно насыщается чаем Иван Сафонович тоже исключительно для лечения.

После пятой чашки, расслабленно передыхая, он продолжает разговор:

— Возьмем, к примеру, рыбу бычка. Не употребляю в пищу, считаю — поганая тварь. Где обитает? Под самым берегом. Чем питается? Отбросами человеческими. Сам видел: что ни бросят — все жрет. Вкусовые качества, заметь, самые ничтожные.

— Чего ж это их на экспорт берут в другие страны? — вежливо спрашивает Мать наша Машенька. — Слыхала, прямо в море могут покупать и сами ловить.

— Они всё употребляют. У француза, к примеру, лягушка за первый деликатес сходит. А вы осведомитесь, Машенька, ваша дочурка такой продукт кушать будет?

— Лягуша бяка, — сказала серьезно Нинуська, подражая в разумности отцу. — Лягуша плёхая.

Иван Сафонович предовольно, с улыбочкой скупой закивал, поглаживая умную Нинуськину голову и поправляя красный бант, прицепленный для красоты к ее волосам. И вся она, Нинуська, очень аккуратненькая, всегда одета в новое и отглаженное. Иван Сафонович сам шьет ей платьица, кофточки, брючки по моделям из журнала «Силуэт».

— В Костромской области у нас карпа разводят, жмыхом кормят, витамины по норме отпускают, антибиотики. Под наблюдением рыба вес нагуливает, антисептическая. Ну, скажу чистосердечно: что сварить, что изжарить, что в сметане стушить — царская рыба! Вкус, аромат — слов достойных не нахожу. А называется как — зеркальный карп! Поэзия!

— Не-е, бычок хороший, — не удержался Русик, хоть и помнил приказание матери молчать и слушать умные речи. — Старик Шаланда говорит — после кефали на втором месте, когда особенно копченый.

— Твой Шаланда скоро в пивной бочке утонет, она глубже моря-океана, не советую общаться с алкоголиками, которым место в лечебно-исправительной трудовой колонии.

— Он заслуженную пенсию получает.

— Руслан! — удивленно прикрикивает Мать наша Машенька. — Прикуси свой язык и... марш во двор, воды наноси!

— Мне чо?.. Пусть карп... Бычок тоже плохую наживку не ест...

Русик вскакивает и, не слушая спокойных, рассудительных слов Ивана Сафоновича, бежит в распахнутую дверь: очень хорошо придумала мама, что выгнала его, давно пора, она почти всегда его выгоняет, как только он начинает спорить, — не хочет, чтобы огорчался Иван Сафонович и долго сидел за столом Русик, ковыряя карандашом тетрадную бумагу. В сенях он хватает ведра, не сбавляя разгона, бежит к колонке на улицу.

У колонки стоит Федька Портупейко, сосед. Ведро у него уже полное, но он держит рычаг, будто прижимает какого-то фыркающего зверя к земле, вода течет из ведра в канаву.

— Портупей! Зачем воду расходуешь?

— А чо, твоя, да?

— Общественная,

— Во, значит, не твоя.

Русик негрубо отталкивает Федьку — драться не хочется, Портупей старше немного, а драться не умеет: карябается, кусается,— ставит свое ведро, ложится животом на рычаг, вода тяжело бьет в цинковое днище, гремит.

— Чо, твой Иван Сафонович лекцию закончил? Умный ты скоро будешь, как Академия наук.

— Соображал бы ты чего. Иван Сафонович — мастер, его народ уважает. И потом, он не мой, Нинуськин отец.

— Бабам юбки шьет, ха!

— Твой канализацию чистит!

— А твой матрос — вся ж... в ракушках!

Русик поворачивается к Федьке Портупейко спиной, подставляет другое ведро, наполняет его чуть выше половины — мама запрещает ему носить полные,— берет ведра, молча идет к дому. Федька тоже минуту молчит — не ожидал он от соседа такой железной выдержки, — затем, опомнившись, пискляво хохочет. Пусть, драться все равно не стоит. Виновата во всем Портупейчиха, мать Федькина,— она хотела, чтобы Иван Сафонович сшил ей по знакомству костюм из кримплена, а тот прогнал ее да еще сказал: «Такие, как вы, подрывают устои нашего народного общества». Ох, и разоралась Портупейчиха! Обещала подать заявление в суд за оскорбление честной личности, вывести всех «на чистую воду», досталось и нашей Машеньке — обозвала ее нахалкой, отбившей старого мужа у многодетной порядочной женщины.

Вылив в железную бочку воду, Русик отдохнул немного, а когда мимо изгороди, нарочито близко, с полными ведрами протопал Федька, корча глупые рожи и приговаривая: «Ап, Руслан! Ап, хорошая собачка!» (у сторожа Будынка твирчисты овчарка есть по имени Руслан), он снова пошел к колонке, чтобы успеть набрать воды и не встретиться с нахальным Портупеем.

Ведер двадцать Русиковых поместилось в бочку; она запотела, возле нее было прохладно Русик окунул голову, потом смотрел в затихшую гладь воды, как в большое круглое зеркало, и удивлялся, радовался, что он вовсе не рыжий — черный, почти негритос, а вокруг его головы — белые-пребелые облака среди густо-синего неба, похожего на тихое море.

Вышла Мать наша Машенька, — значит, Иван Сафонович и Нинуська отдыхают, у них послеобеденный обязательный мертвый час, — потрогала холодную бочку, поворошила мокрый ежик Русика, сказала:

— Молодец, Рыжик, спасибо. Вечером польем грядки, пусть вода согреется.

Под навесом летней кухни она стала постукивать кастрюлями, полоскать тарелки, для себя напевая:

Улица, улица,
Улица родная,
Милая и тихая моя...

Эту песню очень хорошо поет Боря-венгр, массовик писательского дома, такой худой, узколицый, проворный человек, с присвистом произносящий русские слова, всегда делающий ошибки в киноафишах, особенно на буквы «а» и «о». Кто-нибудь исправлял буквы, зачеркивал и приписывал сверху нужные, однако Боря не обижался, обещая когда-нибудь изучить русскую грамматику. Зато играет он на любых инструментах; у него был свой оркестр из четырех местных патлатых ребят, единственный на всем берегу. Мог Боря-венгр и один чуть ли не всех заменить: садился, ставил перед собой микрофон, брал на

колени аккордеон, левую ногу — на барабан, правую — на медные тарелки, да еще какая-то органола впереди, чтобы временами подыгрывать электронными стонами. Издали послушаешь — оркестр гремит. А как поет Боря! Говорят, у него не очень сильный голос, в настоящую эстраду ему не попасть, зато азартно веселый, отчаянный. И поет он по-своему, немножко иностранно. Раз послушаешь — хочется навсегда запомнить, самому петь. Много знает песен Боря-венгр, может любую исполнить по заказу: «Шаланды, полные кефали», «Купите бублики», «Мама, я летчика люблю», «Ча-ча-ча», «Раскинулось море широко» и особенно эту, про улицу родную, улицу, которую надо спасать от больших домов, потому что она «милая и тихая», по ней собаки бегают добрые, «старенькие дворники подметают дворики» и всем на свете улыбаются.

Раз в неделю Боря-венгр устраивает концерт посреди широкой аллеи Будынка твирчисты, собирается много народу, приходят из соседних пансионатов и санаториев, отдыхающие танцуют, поют вместе с Борей. Мальчишки со всего берега тут. Далеко слышны песни, музыка. Вот и Мать наша Машенька поет «Улицу», а Русик никогда не видел ее на Бориных концертах.

Ему делается грустно, немножко жаль маму: все ей некогда, все она работает; и за себя обидно, особенной, чуть завистливой обидой: ведь Боря-венгр будет чьим-нибудь отцом, женится — и сын у него появится. Здорово сыну иметь такого отца! Моряк, матрос первого класса — хорошо, но талантливый человек, которого все любят, еще лучше, хоть он и на суше пока живет.

— Мам,— сказал Русик, чувствуя, что уже не может слушать ее нежно-печальное пение,— я пойду, а?..

— Сегодня не пущу, Рыжик. Сегодня я дома. Море твое никуда не денется, а я тебя мало вижу. Пойди в боковушку свою, скоро полдничать будем, я пирожков с вишнями испеку.

Русик вздыхает, послушно идет в дом, да и жарко уже; сейчас бы искупаться, возле воды пересидеть знойное время, но можно и дома, раз мама не пускает, все равно она говорит и знает: «Мой сын на море растет...» Дом родной тоже нельзя забывать, в нем летом прохладно, зимой тепло.

Дверь спальни открыта, Иван Сафонович спит, высоко подложив под спину и голову подушки. Полосатая пижамная куртка расстегнута — «для облегчения дыхания», — грудь белая, с редкими седыми волосами. Она вспухает и опадает рывками, будто раздувает внутри себя булькающий и сипящий самовар, а нос, вздернутый и потный, пышет невидимым паром. Можно подумать, что и во сне Иван Сафонович спорит с кем-то, учит правильной жизни, но более сердито и неуступчиво.

В комнате-боковушке пахло соляркой, пеньковыми канатами, копченой кефалью. Русик плотно припечатывает дверь, словно боится выпустить эти запахи, крутит у окна штурвальное колесо, осматривает свою капитанскую рубку — спасательный круг, потерянный «Строптивым», компас, карту Черного моря... и видит рядом с фотографией Максима Задорожко нарумяненный портрет Ивана Сафоновича. Нинуська приколола его двумя булавками покрепче,— длинными, такими при раскройке скрепляют куски материала. Когда она успела, нахальная девчонка? Почему не хочет повесить своего отца над собственной кроватью, около своей голопузой фотокарточки? Как не понимает эта полуродная сестричка, что нельзя вешать рядом закройщика, даже самого лучшего, с моряком — в форменке, тельняшке и мичманке, лихим, усатым, смело улыбающимся? Иван Сафонович просто толстый и смешной возле Максима Задорожко, как... ну как деревянная баржа рядом с ракетным крейсером.

Русик снимает раскрашенный портрет, держит двумя пальцами за уголок, минуту или две думает: «Изорвать его? Спрятать?..» Но Иван Сафонович может обидеться, он не виноват вовсе, Нинуська разревется: «Мой папуля луче!» И Русик догадывается, что ему надо сделать. Берет из своего корабельного ящика-рундука молоток, четыре гвоздя с широкими

шляпками, выходит в большую комнату и приколачивает портрет над спящей Нинуськой — намертво припаивает к стене. Пусть попробует кто оторвать! Каждый любит родного отца, всем известно, но зачем навязывать его другим?

Нинуська проснулась, захныкала, не разлепляя кисло заплывших глаз. Русик на цыпочках пробрался в боковушку, Нинуська принялась нудно звать «папулю», потом зашлепала босыми ногами к распахнутой во двор двери и на пороге разнюнилась, будто от горькой обиды на Русика. Она, конечно, ничего еще не увидела, а почувствовать что-то для себя неприятное вполне могла — она как старушка бывает догадливая,— вот и маме жалуется:

— Руся тук-тук мне по головке.

Нелегко дома, в семье, особенно в субботу и воскресенье. Какая-то тесная толкучка получается. Много разговоров, еды, деть себя некуда. Скорее бы вырасти, в плавания уходить на месяц, на полгода. Вернешься, весь бородой заросший, и тебя встречают, цветок суют, целуют, коньяк покупают. Если рыбак и много рыбы наловил — оркестр духовой гремит.

Русик смотрит на Максима Задорожко, завидует ему. Он теперь дальше Кубы плавает, во все страны земного шара: супертанкер — корабль экстракласса, океанская махина. И отец — на нем, потому что крепких людей туда подбирают... Как мог Витька-дуроход поверить, будто этот с гнилой железяки «Орла» — настоящий Максим Задорожко! Посмотрел бы сначала фото. Ничего похожего! Тот угрюмый и бритый, этот с моряцкой бородкой и развеселой отважной улыбкой. Тот боцман, этот старший матрос. Зачем ему боцманить — занятие для малообразованных, — он мореходку окончит заочно и сразу штурманом или капитаном станет.

— Правильно, папка? — спрашивает Русик, и кажется ему, что Максим Задорожко согласно хохочет и кивает белой мичманкой в ответ.

Из большой комнаты слышатся голоса, там смеются, переставляют стулья, визжит Нинуська, звякают тарелки.

— Русик! — зовет мама. — Пирожки кушать!

— Ладно, папка, мы с тобой еще поговорим. Сейчас, видишь, полдничать надо. Заедает семейная жизнь.

На столе, на всегдашнем Русиковом месте, стояла полная чашка молока и кусок вишневого, заплывшего алым соком пирога в блюдце. Нинуська уже измазала мордашку, Иван Сафонович аккуратно делил свою порцию на узенькие пластинки, напоминавшие пирожное. Мать наша Машенька сидела, остужая на коленях красные от печного жара руки, — она не будет есть пирог, она напробовалась и нагляделась, пока пекла его.

Все-таки и дома хорошо иногда отдохнуть; живот полный, ночью потом спишь крепко, к морю придешь утром — словно давным-давно не видел моря, плакать хочется, радоваться, кричать, что есть такая синяя соленая вода и ее много-много, всем в мире хватает.

Мимо окон кто-то прошел, заскрипели ступеньки крыльца, из сеней спросили:

— Можно к вам?

— Прошу,— сказал спокойно Иван Сафонович, неторопливо поднялся, прошаркал сандалиями без пяток навстречу, однако не дошел до двери, как бы желая лучше рассмотреть тех, кто сейчас войдет.

Из сумерек сеней возникли и сразу остановились, перешагнув порог, лейтенант в фуражке с голубым околышем, в легкой, но строго подтянутой гимнастерке и молодая женщина, одетая по-курортному: коротенькое белое платье, белая панамка, белые босоножки. Женщина была загорелая, светлоглазая, а лейтенант бледнолицый и чернявый, даже руки у него светились какой-то холодноватой бледностью; наверное, совсем недавно прилетел на юг. Они засмущались, диковато оглядываясь, вежливо кивая, затем лейтенант остановил взгляд на Иване Сафоновиче, слегка нахмурился, спросил, кашлянув,— уж слишком громко, по-командирски у него получилось:

— Вы будете мастер Кожемякин Иван Сафонович?

— Собственной личной персоной перед вами.

— У нас, понижаете, важное дело. Хотим сшить ей, — лейтенант взял под руку женщину, подвинул ее вперед. — Хочу сшить жене платье, брючный костюм. В ателье, сами знаете, не дождаться. Она вот раньше прилетела, говорит — и на очередь не записывают. Мы вам...

— Минуточку,— подняв ладонь, придержал лейтенанта и как бы попросил слова Иван Сафонович. — Сразу и категорически предупреждаю: заказы дома не принимаю, пошивкой не занимаюсь. Было, допускал раньше, научен людями... Исключение делаю для инвалидов войны, Героев Труда, многодетных матерей. Опять же не дома, помогаю по месту работы — в ателье «Фиалка». Вас неправильно информировали, а может, подослали для проверки моего поведения.

Лейтенант и его жена не ожидали, конечно, такой речи, улыбки заледенели на их лицах, они чуточку попятились к двери, и женщина вроде бы потянула мужа совсем из дома. Лейтенант нежно отстранил ее, упрямо шагнул, ловя вялый взгляд Ивана Сафоновича вдруг посветлевшими и по-военному немигающими глазами:

— Исключение. Понятно... Товарищ Кожемякин, мы с Севера, самого крайнего. Первый раз на юге, недавно расписались. Нам скоро улетать. На Север. А она чуть не плачет... Разве мы не заслужили... не заслужили исключения?

— Так, молодой человек, можно сказать, убедительно говорите. Верю и понимаю. Однако тут, знаете, сколько... — Иван Сафонович осекся: сбоку к нему приблизилась Мать наша Машенька, что-то шепнула в ухо. Впервые он чуть растерянно повел руками, но сразу посуровел, даже головой досадливо тряхнул. — Молодожены, если я не ошибаюсь? Когда поженились? Документ можете представить?

— Алла, паспорт, — попросил лейтенант. Женщина поспешно вынула из сумочки тонкую книжицу, сунула мужу, тот серьезно и вежливо, развернув ее на нужном месте, подал Ивану Сафоновичу.

— Так-с. Расписались двадцать семь дней назад. Проведем как молодоженов. Постараюсь убедительно разъяснить заведующей, сделаем особое исключение. Приходите в понедельник в ателье «Фиалка», спросите меня. Желаю счастья в семейной жизни.

Лейтенант и его жена разом заговорили, закланялись, благодаря и суетясь, испытывая неловкость и еще большее стеснение: как, чем отблагодарить? Сейчас, потом? Или довольно сказать «спасибо»? Женщина положила в сумочку паспорт, покопалась в ней, не глядя, и из сумочки, хрустя, выглянула новенькая двадцатипятирублевка. Иван Сафонович словно ожидал этого, подошел, спокойно принял деньги, подержал бумажку в руке, чтобы видели все, взял у женщины сумочку, вложил в нее деньги, защелкнул замок и отдал с улыбкой и поклоном.

— Не советую так начинать молодую жизнь, общество не простит нам подрыва моральных устоев.

Молодая пара дружно, покаянно извинилась, придя в невообразимый восторг от непостижимой личности мастера Кожемякина, вылетела в дверь, почти бегом пронеслась мимо окон.

Иван Сафонович вернулся к недоеденному пирогу, попросил подогреть молоко, сказал:

— Зауважали.

Доволен был собой Иван Сафонович, щебетала что-то про красивую тетю Нинуська, улыбалась Мать наша Машенька, радовался молча Русик: это он попросил маму помочь лейтенанту, который — самый настоящий летчик, да еще военно-морской, на сверхзвуковом наверняка летает. И не виноват он, что не фронтовик, не Герой Труда пока еще, что жена у него малодетная... Лейтенант — хороший, видно же, все может с ним случиться, всего он достигнет, потому что — смелый.

— Наглядно-показательный пример тебе, Руслан. Запоминай, учись правильной жизни. Отношения людей, можно сказать, самая трудная сторона современной действительности. Приходит, к примеру, ко мне турок — такой носатый, смуглый с лица, настоящий турок,

только наш, отечественный, когда-то в давности предки сюда заехали. Тут у вас разнонародие проживает... Вот, заметь, является и произносит: сшей, дорогой, национальный костюм. Полосатую бязь сует. Какой фасон, расспрашиваю. Такой, такой, показывает. Лопочет, пойми, если очень умный. Ладно, говорю, сделаю — нельзя, думаю, обижать представителя народности. И сработал. Кинофильмы пришлось в голове припомнить, фото журнальные полистал, сообразил досконально. Халат до пяток турку в удовольствие преподнес. Так он нормального поведения лишился от благодарности, стал на колени, кланяется. А потом таратайку фруктов привез к ателье, кричит: «Забирай, хороший человек!» Наш персонал весь вывалил смотреть, заведующая в кабинете окно раскрыла, тоже наблюдает, девки яблоки, персики жуют, растаскивают дыни... Как тут выйти из создавшегося положения, товарищ Руслан? Понимаю, ты пока малой сообразительности человек. Требуются в таких ситуациях решительные действия. Схватил я эту таратайку, выпихнул на улицу и сдал турка милиционеру как за мелкое хулиганство. Наглядно-показательно, поучительно для коллектива. Обстановка, могу сказать, в ателье «Фиалка» с момента моей работы заметно оздоровилась.

Иван Сафонович запивает молоком последний кусочек вишневого пирога, говорит «спасибо» и целует Мать нашу Машеньку в щеку. Несколько минут он шуршит газетой, вслух рассуждая о серьезном положении на Ближнем Востоке, предательском поведении фашиста Пиночета. Затем приносит из спальни и раскладывает свой личный письменный прибор: фарфоровую чернильницу-непроливашку, украшенную голубой ромашкой, лакированную толстую ручку с железным пером № 86, мраморное пресс-папье и общую тетрадь в линейку. Никаких авто- или шариковых ручек Иван Сафонович видеть не может: баловство, почерка нужного не получается, мысли легкие на бумагу ложатся: автоматика!

Русик знает, что сейчас Иван Сафонович будет сочинять письмо в Кострому, и не уходит: пишет он, повторяя каждое предложение вслух, можно послушать, иногда даже интересно бывает, как он старательно, с нажимом выводит буквы, закусывает по-мальчишески губу, тяжело дышит, будто лезет на крутую гору, а то и слезинку согнутым пальцем утрет. К столу подсаживается Нинуська с карандашом и бумажкой, Мать наша Машенька берет начатую вышивку, и в полной тишине Иван Сафонович пишет, пробуя на слух каждое слово:

— «Уважаемая Ираида Кирилловна! Обращается к Вам ваш бывший законный муж а также остающийся отцом родным ваших детей Иван Сафонович Кожемякин ныне проживающий на юге страны. Как я Вам сообщал неоднократно и безответно что нашел новое счастье в семейной жизни имея от нее трехлетнюю дочь Нину. Многие совместные годы я знал Вас Ираида Кирилловна как женщину хозяйственную умно мыслящую а вот опять не получил ответа на посланные за июль месяц алименты сыну Ване и дочери Валентине так как Алексей уже совершеннолетний. Это неуважение роняет Ваше достоинство в моем лице я не узнаю Вашего поведения имея ввиду прошлую счастливую жизнь которую прекратила новая поглотившая меня любовь к небезызвестной Вам по письмам Марии Даниловне бывшей Задорожко. В остальном здоровье мое поправляется я переживаю можно сказать вторую молодость. Работаю в ателье старшим закройщиком являюсь мастером высшего класса честно и справедливо хорошо получаю как человек непьющий уважаемый администрацией и коллективом. Алименты высылаю аккуратно не обижу сына Ваню и дочь Валентину а Алексею Ираида Кирилловна передавайте большой сердечный привет. Всего Вам наилучшего в личной жизни. С уважением бывший Ваш муж а также остающийся...»

— Папуля! — вдруг вскрикивает Нинуська, тараща жутко испуганные глазенки на стену, у которой стоит ее кровать. — Руська тебя при-прибил гвоздями!

К стене медленно поворачивается Иван Сафонович, встает и подходит, издали присматриваясь, Мать наша Машенька, а Русик мигом и неслышно выскальзывает в дверь.

Солнце клонится за каменную стену санатория «Жемчужина», греет мглисто и устало, море сияет чистой зеленью, от него вроде бы холодеет воздух, оживает листва деревьев.

Русик бежит к обрыву. Расчудесно сейчас у воды!

ФАНТАСТ ПЛУТОНИЙ И ШАЛАНДА

Ветер подул со степи. Обтекая парки, сады, дома на обрыве, он круто падал к воде, горячий, напитанный горькими, иссохшими травами, будто хотел утолить свою вечную степную жажду. И казалось — море страшится знойного степняка, отступает в прохладную даль и глубь, оголяя намытый песок, замшелые камни; или ветер жадно выпивает воду у берега, так жадно, что море не успевает подбавлять новой... Ни прибоя, ни плеска ряби — тишина, ровное, немое сияние до самой сине-черной полоски, где вода соединяется с небом; глухо проплывают корабли, не слышны голоса рыбаков на лодках, даже близкие вскрики чаек мгновенно топятся ветром в морской неоглядности. Лишь гудит деревьями горячий горький воздух, падая с обрыва, и слышится в его диком гуде еле уловимая, но зреющая жалоба: скоро, очень скоро за синей кромкой горизонта скопится ветер «моряк», забурлит волнами, переборет «степняка» и погонит его в сухие холмы и овраги, в свое степное море, откуда он так нежданно, яростно вырвался.

А пока — штиль. Самое время добывать морского червя.

Русик поднимает плоские камни, заплывшие илом (под ними бороздки, норки), и, если видит красного червяка-волосатика, быстро хватает его: эти, морские,— очень юркие: заползет, спрячется в норку, полдня копай, не отыщешь. Старик Шаланда пораньше встал, опытный человек, наковырял литровую банку, удит уже на черных валунах. Русику столько не надо, но запас не помешает: лучшая наживка, кефаль можно поймать. Прозеваешь — жди другого «степняка». А когда он подует?.. Шел ведь мимо Русикова дома Шаланда, мог бы разбудить, да не хочет старик видеться с Иваном Сафоновичем, обзывая его «Фиалка суконная». А тот в ответ спокойненько: «Печально мне видеть личность, которая опустилась на дно нашего разумного общества». Так они враждуют много лет...

— Э-э... приветик, товарищ. Чего это ты, извини, как поросенок роешься?

Сначала Русик увидел волосатые мощные ноги, затем широченные красные плавки и тяжелый живот и, только выпрямившись совсем, — круглое румяное лицо с короткой колючей бородкой, маленьким ноздристым носом, выпученными, будто нарочно, глазами зеленоватого, бутылочного цвета; на голове у толстого серьезного человека топорщился жесткий седоватый ежик, подстриженный коротко, и потому казалось — лицо его вставлено в сплошную бороду, как в рамку.

— Червей копаю, — сказал Русик, показывая банку, по мутным стенкам которой елозили красные волосатики.

— Для рыбы... э-э... значит?

— Точно! Всякая ловится на морского червяка.

Человек наклонился к банке, зачем-то принюхался (от него пахло вином, сигаретами, женским лосьоном), ему стало неприятно, он округлил ноздри, фыркнул, словно вынырнул из глубокой воды.

— Фу! Страшнее дождевых в сто раз, правда? Сколопендры какие-то! А ты их... э-э... руками, когда наживляешь?

Русик вытащил одного, положил на ладонь. Волосатик забился, испугавшись света, и занемел тугим прохладным колечком.

— Брось! Как тебе не противно!

Осторожно опустив червя в банку, Русик сказал:

— Не бойтесь, дядя, он не кусается.

— Знаю. Но отвратно же!

Человек отступил на чистую гальку, сел. Тяжелый живот его провис меж толстых колен. Ноздри сопели, глаза вроде бы возмущенно пучились, румяные губы вздрагивали. Русику расхотелось добывать червей — хватит пока. Раз так неприятно приезжему, солидному человеку, можно обойтись теми, что накопал. В конце концов, местные, живущие

на курорте Большой Фонтан, должны заботиться о приехавших отдыхать. Ведь почти все они работают в санаториях и домах отдыха.

Вымыв чистой водой руки, пригладив растрепанные волосы, Русик почувствовал себя увереннее, спросил:

— Дядя, вы из Будынка?

— Угу, из будильника. Сегодня собаки спать не дали. Под окном сцепились в пять утра и грызлись до семи. Почему у вас собак много?

— Много, — согласился Русик. — Бродячие. Их убивают — все равно откуда-то берутся.

— Понятно. Э-э... юг, всякая мразь безответственно плодится. У нас бы они померзли.

— Вы писатель, дядя?

— Фантаст.

— Фантомас?

— Ха-ха! Ну чудик-юдик-карапуз! Фантаст. Фантазирую, значит, сочиняю. Другие... э-э... скажем, реалисты — те, как вот ты, все про жизнь... А я космос обозреваю мысленным взором. Понял чего-нибудь, рыжий чудик?

— Ага. Про другие планеты сочиняете. Про жителей Марса, которые похожи на больших муравьишек.

— Пройденный этап, малец. Наша система оказалась безлюдной. Щупаю отдаленные галактики. Ну, тебе это не уразуметь.

— Понимаю. Планеты, которые дальше Солнца.

— С тобой не заскучаешь.

— Первый раз писателя вижу. — Русик оглядел мощного и какого-то уж очень нежного писателя, он все больше нравился ему своей чуть пугающей необычностью. — Спрашиваю в Будынке других, отвечают: шахтеры. Мама говорит: писатели в шахтерские дома отдыха едут, шахтеры — в писательские. Так им интереснее.

— Почти угадал, обмениваемся. Нам их санатории нужны, лечиться, а им книжки посочинять надо, правда же?

— Не-е, они тут весело отдыхают...

— Ха-ха! Все знает рыжий чудик! Зачем тебя мама такого умного родила? Подарочек, можно сказать, преподнесла человечеству. А писателя, значит, первого видишь?

— Один из Ташкента, который критикует, обещал книжку прислать, забыл, наверно. Одна переводчица подарила, но я не умею пока по-французски.

— Ну да. Это ж тебе... э-э... не червяков волосатых из грязи дергать. Париж! «Гранд-Опера», Лувр, соборы, Эйфелева башня! Кабаре, девочки, неоновое сияние. Вспомнишь — душа летит через границы и рубежи. Другая планета!

— Вы там были?

Вместо ответа писатель оглядел долгим затуманенным взором Русика, будто соображая, откуда он тут взялся, такой рыжий и прилипчивый, а затем спросил мрачно:

— Ты знаешь, кто я?

Русик немо замотал головой.

— Плутоний Сириус.

Русик молча и согласно покивал, удивляясь красивым, никогда не слышанным имени и фамилии — такие не могут быть у простых людей, такие бывают, наверное, у жителей далеких планет, знаменитых киноактеров или вот у этого дяди фантаста. Русик хотел и себя назвать, чтобы уж совсем познакомиться, но раздумал: имя у него, может, и ничего еще, а фамилия пустяшная — Задорожко, да и писатель отрешенно смотрел в ленивое штилевое море, пожалуй позабыв о нем навсегда. Надо уходить. Человек мыслит — сочиняет — нельзя мешать: рассердится еще и не захочет потом, в другой раз, узнать Русика, поговорить про космическую фантастику. Стараясь не шуметь, он поднял удочку, банку, кеды, шагнул, чуть слышно скрипнув галькой.

— Э-э... подожди, чудик. Идея-фикс пришла. Надо зафиксировать. Слушай, садись и

радуйся, что повезло. Книжкам такое еще не снилось. Представь, планета где-то за миллион световых лет от нас, свое у нее солнце, но оно льет жидкий свет, и атмосфера там... э-э... тоже жидкая, приблизительно как у нас вода. И разумные существа на планете, назовем ее Гидрастис, плавают... представляешь, плавают, а не ходят. — Писатель Плутоний Сириус развел толстые волосатые руки, помахал ими, отгребая невидимую жидкую атмосферу. — Всегда во взвешенном состоянии находятся существа, к тому же разумные. Так. Усвоил?

— Как медузы? — спросил Русик.

— Фу! Это же неэстетично — медузы. Из тебя прямо выпирают всякие грубости. Не можешь отвлеченно, умозрительно вообразить гидроидов... Да, назовем гидроидами жителей Гидрастиса. Красиво, правда? Гидроиды... Ну вот, пусть они плавают в твоем воображении, как дельфины. Грубовато, конечно, такое сравнение, но главная суть не в этом. Гидроиды имеют реактивные двигатели, рождаются с такими двигателями. Втягивают жидкую атмосферу и с жуткой силой выталкивают ее, развивая потрясающую скорость...

— Похоже на кальмаров, да? Мне Витька-дуроход рассказывал, они набирают воду и выталкивают.

Плутоний Сириус сцепляет меж колен пухлые пальцы рук, медленно поворачивает к Русику бородатую, округло бородатую и колючую голову, стеклянно выпученными глазами словно бы расплющивает бестолкового чудика на горячей и жесткой гальке, держит его уничтоженным несколько минут. Убедившись наконец, что Русик осознал свою неисправимую, дерзкую вину, Плутоний Сириус гладит ладошкой круглый живот, мечтательно расслабляется и говорит прежним дружеским тоном:

— Главная суть в чем? Не жду ответа — не для твоей головы альтернатива. Техника не требуется гидроидам, вот! Никакой! Все у них есть от рождения. Планету освещают гигантские электрические скаты, вечное лето, никакого притяжения, не надо строить города, дороги, передвигайся в любом направлении, они все во взвешенном состоянии, детеныши выкармливаются атмосферой, насыщенной питательными веществами. Гидроиды не ходят на работу, у них масса свободного времени для умственного и духовного развития, поэтому они в тысячи раз умнее людей. Но, представь, наука у них не техническая — умозрительно-отвлеченная, сплошная теория и чистая философия, из которой не надо производить табуретки. Гидроиды свободны от вещей, добычи пищи (я уже сказал — питает их пульсирующая атмосфера), а значит, нет на планете Гидрастис зависти, злобы, борьбы за теплое и сытное местечко под своим солнцем. Умозрительным, неугнетенным разумом гидроиды постигли всю Вселенную, поняли ее суть, как дважды два осознали и примирились с ее бесконечностью. Им не надо летать в космос, они знают о жалком существовании людей, видят, например, нас с тобой на берегу нашей лужи-моря, загорающих козявок. Им-то и загорать ни к чему, они живут вечно, никогда не болеют. Идеальная антисептика, совершенный биоценоз.

— Здорово, дядя... Плутоний! Вы такой хороший придумщик... Фантаст! — Русик глянул ему в лицо, густо закрасневшее от солнца, с капельками пота на щеках (может, от воображения он так раскалился, работа же — воображение, да еще какая!). — И воевать эти гидроиды никогда не будут, правда? Зачем им, если все есть?

— Ты жуткий реалист, парень. Без навоза не можешь. Абстрактности никакой. Другая галактика, а ему «ура» подавай. Там общаются как? Мысленно, электронно, без слов. У них и рук нету, чтобы автомат держать.

— А мой дед погиб...

— Опять! При чем тут твой дед? Какое им дело?.. Для гидроидов наши войны — мелкая возня. У них... э-э... галактические войны. Например, гидроиды решают поглотить какую-нибудь биологически насыщенную планету — она нужна им для пополнения собственной питательной среды, — приводят в действие реактивные силы Гидрастиса, там же все реактивное, и с потрясающей скоростью устремляются к цели. Происходит столкновение, но никакого взрыва: своей жидкой пульсирующей атмосферой Гидрастис всасывает в себя планету, насыщенную живыми существами, до капельки растворяет ее в

себе. Тихо, мирно, никакой крови, криков и рыданий. Космический размах!

— Целиком?!

— Ну да. Остатки, отходы могут загрязнить окружающую среду, галактическое пространство. Там строго следят за этим.

— А до нас они не долетят?

— Могут. Если пища... э-э... иссякнет поблизости.

Русик оглядел лужу-море, теперь уже зарябившую, слегка подкрашенную густой синью вдали, минуту или две смотрел на клокочущий, рыжий от обнаженных тел, звенящий голосами пляж, затем поднял глаза к обрыву, где в зелени садов, акаций, платанов едва виднелись затененные крыши маленьких домишек, а выше — белые дома санаториев, и спросил себя: «Неужели всего этого в одно мгновение может не стать?» Исчезнет Страхпом со своими персиковыми деревьями, старик Шаланда вместе с удочкой и бычками на кукане, растворятся в жидкой атмосфере мастер высшего класса Иван Сафонович Кожемякин, Нинуська, Мать наша Машенька, танкер «Орел», хоть он и железный, порт, город, этот пляж с тысячами загорающих... Всех всосет в себя планета Гидрастис, все станут пищей для самых умных существ — гидроидов... И он, Русик Задорожко, тоже...

«Нет,— сказал себе Русик,— не хочу!»

Он не мог представить, умозрительно вообразить, что его совсем-совсем не будет нигде во Вселенной. Другие еще могут исчезнуть, особенно Страхпом, а он... Русик передернул плечами, пошевелил пальцами ног, взял гальку и зашвырнул далеко в воду... А он, такой живой, всем нужный, уже умеющий читать книжки, он не растворится в жидкой атмосфере. Никогда! Гидроидам не удастся сварить из него суп. Русик будет защищаться

Подняв щепку, он отщипнул тоненькую палочку и нарисовал на песке гидроида: толстый, головастый, вместо лица — огромная пасть, вместо рук — жирные плавники, на хвосте — сопло турбины, как у сверхзвукового самолета. Подумав, залохматил голову сплошной бородой, выпятил живот и низ живота одел в плавки: неприлично же разумным существам голыми плавать. Вокруг начертил волны жидкой атмосферы.

Плутоний Сириус спросил:

— Ты кого это?

— Гидроида.

— Вроде на меня похож?

— Не-е. У него жабры и... турбина.

— Сотри. Отвратно видеть.

Русик размазал пяткой рисунок, поднялся, собрал свои вещи и хотел попрощаться с писателем-фантастом — вряд ли он сегодня что-нибудь интересное придумает: утомился, огруз и глаза вроде бы запотели мутно, как у полусонного, — но писатель, глянув в сторону бурно клокочущего пляжа, вдруг ободрился испуганно, схватил Русика за руку, притянул к себе.

— Жена идет... э-э... выручай!.. — Голос у него приглох, словно захлебнулся в нырке, потом зазвучал часто, с нарочитым смешком. — Скажи: немножко дядя позагорал, пять минут. Мне нельзя, понимаешь?.. Сердце... Она строгая, у-у какая! И скажи: просто так, про море разговаривали. Не любит, когда сюжеты разбалтываю, у-у!.. Выручай, чудик. За мной мороженое, пять порций.

Слушая, Русик смотрел мимо Плутония Сириуса — там, по кромке пляжа, расплескивая длинными загорелыми ногами воду, шла женщина в легоньком распахнутом халатике, в лифчике и трусиках — узеньким клинышком,— с высокой, крупными завитушками седоватой прической париком (Русик видел, как такие парики снимают перед купанием, прячут в сумки). Очень молодая женщина, спортивная и точно — строгая. От строгости у нее сдвинулись резко накрашенные брови, стиснулись в узенькую полоску губы. Красными ногтями она нервно терзала зажженную сигарету и сощурено, острыми полосками глаз нацеливалась на Плутония. Но заговорила вовсе не зло или нарочито не зло, как говорят

с напроказившим родным ребенком:

— Платоша! Значит, убегаем, прячемся? Загораем сколько хотим, а после тяжело болеть будем, голубчик? Придется строго наказать тебя. Завтра будешь сидеть в комнате и не получишь сладкого.

— Я на минуту, на одну минуту снял рубашку. — Плутоний сердито и как-то жалобно подмигнул Русику: «Чего же ты?» — Вон мальчик видел, подтвердит. Скажи, мальчик.

— На одну, тетя, точно, на одну минутку...

— А ты молчи. Маленький, а врун уже. — Женщина прикрыла плечи Плутония рубашкой, подтолкнула его кулачком в затылок. — Вижу, спина покраснела. Поднимайся, голубчик.

— Не-е, тетя...

Женщина глянула на Русика так, словно через силу заставила себя внимательно разглядеть его, и нехотя, брезгливо скривила губы, не найдя в нем ничего интересного. Неожиданно шагнув к Русику, она склонилась над ним, опахнув нежным запахом лосьонов, сигаретного дыма:

— Ну-ка говори, рыжая бестия, что он тебе тут рассказывал, какие сказки?

— Про море мы... какое глубокое...

Метнув в рот сигарету, женщина протянула длинную руку, вцепилась острыми красными ногтями в Русиковы волосы, приподняла его с гальки, повернула к себе лицом — он увидел ее глаза, круглые, белые, как начищенные серебряные монеты,— и женщина оттолкнула его, негромко сказав:

— Чтоб я тебя больше не видела, дрянь шалавая! И ни слова никому! Понял?

Русик отбежал, позабыв прихватить свои вещи, подумал, что женщина расшвыряет их со злости, однако она уже не смотрела на него, нервно одевала Плутония Сириуса, устыжая ласковыми словами, потом толкнула его ладошкой в спину, повела впереди себя.

Они шли, высокая и тонкая, коротенький и толстый. Под ним тяжело скрипела галька, под ней — позванивала. Он ссутулился, втянул голову в борцовские плечи — голова лежала на плечах лохматым шаром, — свесил вяло и низко руки, смотрел себе под ноги, как виноватый, выпивший лишку мужик. Она вытянулась в струнку, медленно поводила головой, чуть кивая знакомым, и, казалось, полы халатика, отброшенные за спину, не смели касаться ее сердитого тела. Она была похожа на очень строгую детсадовскую воспитательницу и на неродную маму.

Вскоре Плутоний Сириус затерялся в пестром, шумном пляжном многолюдье. Русик вздохнул облегченно и обиженно. И едва не заплакал: «Зачем они так?.. Почему они такие?..»

Придя на мыс, он не стал разматывать удочку, готовить наживку: время упущено, рыба клевать не будет — полдень, самая жара, все засыпает в море и на суше. Да и старик Шаланда вон уже пробирается по камням к берегу, штаны засучены выше колен, пиджак отвис, кукан с бычками волочит по воде. Выкарабкался кряхтя, заметил Русика, вроде немного удивился, помотал белой головой:

— Здоров был, любимец! Опять тута?

— Опять.

— Ты как этот... комендант моря.

— Ты тоже.

— Ну, веселый любимец, ничего живешь-можешь?

— Помаленьку.

— Правильно делаешь. А я вон сколько наловил — твоему коту на раз мало будет. Штиль. Вода ушла, рыба уплыла, где поглубже. Ветер «степняк» — никудышний рыбак. Пойду, думаю, перекушу, пережду, вечерком подловлю.

— У меня есть. Хочешь? — Русик поднял и показал Шаланде клеенчатую сумку.

— А это... тебя не обижу?

— Я с запасом беру всегда. Мама побольше дает. Если поделюсь — чтобы самому

хватило.

— Пошли тогда в тенек, вон в нашу пещеру. Закусим, переждем жару. Я и сам прихватываю чего поесть, да сегодня заторопился: вижу, «степняк» потянул — червя схватить надо. Спас, считай, Шаланду: в гору лезть — ноги переламывать. Взаимовыручка называется. В другой раз бабки Сониного пирога тебе принесу. Хорошие печет, с вишеньями.

В нише, под глинистым обрывом мыса, они садятся у застарелого кострища — здесь рыбаки пережидают непогоду, здесь прячутся от полуденного солнца. Русик расстилает газету, выкладывает бутерброды, ставит бутылку квасу. Едят молча, по очереди запивают. Старик жует, как трудную работу выполняет, — зубов почти нету, деснами быстро не перемнешь, и поэтому Русик молчит, старается есть медленнее, будто нехотя. А то подумает Шаланда, что он голодный, вовсе откажется угощаться.

— Ладно, любимец, я подремлю, ты помечтай. Тихо, слышь? У курортничков мертвый час. Опосля бычков надергаем.

Старик приваливается к теплой глинистой стенке, напухшими веками гасит скудную голубизну глаз, но не совсем — остаются узенькие водянистые блестки, словно не хочет он полностью терять жизнь, следит за нею, подглядывает. Седые жесткие волосы упали на лоб, тяжелый нос почти уперся в подбородок, четче проступили шрамы, морщины, все пунцово-бурое от солнца, ветра, морской соли. Костистый, крепкий старик. Таким и должен быть моряк, о таких, наверное, песни складывают. Может, и не выдумал он — о нем замечательная песня «Шаланды, полные кефали...».

Русик вспомнил о Плутонии Сириусе. И теперь пожалел его: каким он страшным казался, когда фантазировал о планете Гидрастис, и как струсил, увидев свою жену! Мальчишкой стал, даже уменьшился в росте. Его, пожалуй, обижает жена. Ну конечно, завтра не пустит на пляж, сладкого не даст. Интересно, на ключ замкнет? А он ничего, Плутоний, хоть и капризный мужик... Надо увидеться с ним потихоньку, мороженое принести или конфет. Лишь бы она его не заперла.

Старик Шаланда, приоткрыв густо подсиненные, будто обновившиеся под веками глаза, достал папиросы «Север», свои всегдашние, задымил, сладко причмокивая.

— Табачок — человек, голову проясняет, душу успокаивает. Покуришь — как умно побеседуешь. — Он засмеялся от очень хорошего настроения, толкнул Русика в плечо деревянно жесткой ладонью: — Давно не видались. Занятый был, что ли?

— Ага, занятый.

— А живешь ничего?

— Помаленьку.

— Отец не вернулся, говоришь? Знаю.

— Он на супертанкере теперь, «Орел» бросил. В далекие страны ходит.

— Понятно, любимец, дальше некуда. А этот, оглоед занудный, борщи большой ложкой стёрбает?

— Иван Сафонович? Ему витаминов не хватает.

— Ему вот чего не хватает. — Шаланда стиснул и поднес к Русикову лицу бурый, угластый, с растрескавшейся кожей кулак, похожий на застарелый древесный обрубок. Но тут же опустил, видимо, застыдился своей неожиданной сердитости, заговорил, полуотвернувшись, вполголоса, словно бы для себя: — Измордовали бабу, ума лишили... Один бросил, дурак, на дочку капитанскую позарился. Другой... другой не дал опомниться — слизняком прилип. Ласки-сказки... Тьфу!..

— Он уважительный, хозяйственный, мама говорит.

— Еще чего говорит?

— Нинуську жалко.

— Понятно — жалко. А тебя, себя?

— Не знаю.

— И знать тебе не положено. А я скажу: отправит скоро Мать наша Машенька

закройщика высшего класса в Кострому. Плакать не будешь?

— Не-е.

— Тогда поднимайся, работать пора.

Они перебрели лагуну, выбрали плоские удобные валуны, забросили удочки. Рыбачили молча и долго. Бычки клевали вяло, пожалуй, и вправду ушли вместе с водой в прохладную глубину. Зато море было удивительно ясное, светилось всей своей необъятностью, казалось, не имело пределов, и чудилось — оно растеклось по небосводу, стало воздухом, ветром, в нем утонули берега, рощи, дома, город. Морем легко дышалось, в море воздушно жилось.

Неприметно затих горячий «степняк», его сменил острый соленый ток морской прохлады. Засинела, заморщилась разбуженная вода. Опустели пляжи. Старик Шаланда и Русик отправились домой.

Шли по длинной скрипучей лестнице, Русик — впереди, вприпрыжку, старик — отставая, стуча башмаками, хрипя, точно кости у него скрипели, как лестничные ступени. На кипарисовой аллее Будынка твирчисты остановились передохнуть.

Здесь горели фонари, играла музыка, танцевали шахтеры и писатели. Боря-венгр бил в барабан, звенел медными тарелками, бегло перебирал клавиши аккордеона и пел в микрофон:

Есть у нас в районе Молдаванки
Улица обычная, друзья,
Старенькие дворники
Подметают дворики,
Чтоб сияла улица моя!

Сделав паузу, надрывно простонав в тишине органолой, он протяжно вытягивал припев:

Улица, улица,
Улица родная...

Старик Шаланда пожал Русику руку, заторопился к воротам — ему надо успеть на рынок, навестить пивбар «Якорь»,— а Русик сел на пустую скамейку слушать музыку. Сидел до темноты, до крупных звезд над кипарисами.

Потом пришла Мать наша Машенька, повела сонного Русика домой. Музыка уже стихла, опустела аллея, но зато шумело, звучало под кручей, дышало сыростью, простором большой воды море. И в нем, невидимом за чернотой ночи, высоко мерцал теплыми огоньками пароход, уплывавший в небо, к звездам.

МЫС РАМАНОН

Стелла Ивановна сказала:

— Ребята, напишите сочинение. Расскажите, как вы провели лето, что видели, где жили.

Она села и раскрыла книжку, но читать раздумала. Вырвала из тетради листок, стала рисовать. Она всегда что-нибудь рисовала: чаек, деревья, горы...

Петька Трушин смотрел на ее черные опущенные ресницы, розовые губы, щурился маленькому солнцу на ее золотых часах и думал. Думал, что очень красивая досталась пятиклассникам учительница, пожалуй, такая же, как у капитана с «Оскола» жена, только та в голубых брючках ходит и папиросу курит.

И звать Стелла Ивановна. Что такое Стелла? Наверное, очень красивое что-нибудь. Потом думал Петька о сочинении, и, когда учительница понемногу забылась, он начал

писать.

«Татарский пролив — старик, он из воды весь и с белой бородой. Мыс Раманон — тоже старик, только каменный и зеленые волосы (из травы) имеет. Третий — Маяк, белый, высокий и светит по ночам сильным прожекторным глазом. Старик Татарский пролив — шумливый, как пьяный мужик, и кидается всегда на старика Раманона. Бьет его кулаками и опутывает белой бородой. Старик Раманон ворчит, кряхтит и не сдается. Только в самом низу, где у него пещера, гремят и отрываются камни: это, наверно, выпадают его зубы. Дерутся эти два старика, чего они делят — никто не знает. Не знает и старик Маяк. Он все смотрит по ночам одним глазом, старается распознать что-то и никак не может и мигает пароходам, чтобы знали, что здесь дерутся два старика, и не подходили близко. А бывает, тихие станут они. Старик Татарский пролив лижет разбитые щеки Раманона, вползает ему водой в пустой рот, булькает там, шуршит галькой, шепчет что-то, забавляет, наверно. Раманон дремлет, греет волосы свои зеленые (из травы) и про что-то думает. Тогда я прихожу на самый его лоб, смотрю вниз на водяного старика. Вижу бороду, рыжую (из водорослей), она шевелится, в ней плавают рыбки — старик позволяет. А как рассердится он — борода белеет, пенится и цепляется за камни. Лоб у Раманона теплый, другой старик смеется и ластится водой. Но я не верю. Не верит и Маяк. Белый, холодный (особенно внутри), он стоит один и не верит. Никто не верит. Отец мой, начальник маячный, хмурится и ожидает чего-то нехорошего, радист Петр старается побольше загореть, лежит около рубки, моторист хромой Иннокентьев (это мой дед) подкатывает бочки с горючим к моторному домику, проверяет разную свою снасть, чтобы потом по холоду не бегать. И женщины все не верят — стирают, сушат, вытряхивают ковры. Мать меня кличет, гонит за водой. И правильно делает. Потому что скоро, на эту или на другую ночь, старик Татарский пролив сначала зашумит, заворчит, а потом набросится на каменного Раманона, будто вспомнит какую-то злость. А Маяк про себя улыбается — он-то всегда не верил — и смотрит на двух страшных стариков и, наверно, догадывается про что-то...»

Зазвенел звонок, резко, громко, так, что Петька Трушин вздрогнул и ткнул в тетрадь пером — получилась жирная точка. Петька глянул на Стеллу Ивановну — она медленно поднималась, не отрывай глаз от книжки и одергивая рукой кофточку. Маленькое солнце на золотых часах мигало, как луч крошечного маяка. Сейчас она скажет: «Дежурный, собери тетради!» И Петька быстро дописал: «Вот так я прожил лето».

После уроков математики и географии Петька Трушин пошел в столовую, пообедал на пятьдесят четыре копейки: щи, плов и компот; потом, подумав, выпил еще «Сахалинского освежающего». На улице постоял около киоска, где маленький крикливый старик торговал семечками. Хотел купить стакан, но, увидев, как трясутся у старика руки и как он ловко смахивает «верх», рассердился, пошел домой.

Дом Петькин был у бабки Сидорченки. С первого класса Петька жил зимами в комнате за печкой, и бабка брала у него «схожую» плату. А в этом году она подселила Глеба Самохина, семиклассника, выбросила старый диван, поставила еще одну койку. Он парень ничего, только длинный очень, такой, что ноги всегда выползают из-под одеяла, мерзнут, и Глеб кричит во сне: ему кажется, что он замерзает в Арктике. Начитанный очень. Любит еще шляться по поселку, обзывать словечком «чувак». Сначала Петька ссорился с ним, говорил на все ему: «Да пшел ты...» — а теперь привык и решил жить вместе.

Глеб был дома, и бабка Сидорченка ругала его.

— Отдай, говорю, деньги! — кричала она, терзая пухлыми пальцами цветастый фартук.

— Бабуся, я же сказал, завтра, — жалобно отвечал Глеб и так кривил свой рот, будто хотел расплакаться.

— Отец послал тебе на квартплату, куда задевал? — краснела Сидорченка. — Отдай, говорю, не то выставлю на мороз, стиляжка несчастный!

А какой Глеб стиляжка? Только штаны узкие, да и то купил на барахолке, а пиджак, пожалуй, довоенной моды, с плечами на вате, как у школьного завхоза в праздник.

Петька бросил ранец на койку, полез в карман и отсчитал бабке три рубля аванса. Сидорченка взяла деньги, погладила Петьку по голове, хотела чмокнуть мокрыми губами. Петька увернулся. Бабка вздохнула, сказала Глебу:

— Ты, Самохин, смотри у меня... Я строгая... — Бабка строго повернулась и пошла за дверь. Седые, скрученные в узел волосы, тяжелая спина, толстые ноги в суконных шлепанцах — все было очень строгое.

— Благодарю, — сказал Глеб, выставил вперед длинную худую ногу, пожал Петьке руку. — Знаешь, что говорил в такие моменты капитан Ван Тох из «Войны с саламандрами»? «Thanks [1], черт побери!» Я поиздержался, купил китайскую авторучку, семь пятьдесят всего, зато вещь, перо золотое. На, подержи.

Но подержать не дал, повертел, поиграл блестящим наконечником перед глазами и сунул ручку в карман пиджака. Не очень и надо было — таких ручек в магазине хоть сотню бери. Петька зайдет как-нибудь, рассмотрит хорошенько. А потом подкопит денег...

— Знаешь, пойдем-ка работнем. Говорят, корюшка речку запрудила, у моста — котел. Бери сачок. — Глеб продел лохматую голову сквозь толстый спортивный свитер. — Законно. После уроков каждый учащийся должен вдыхать кислород.

Пошли. Петька нес сачок, а Глеб рассказывал, как капитан Ван Тох подружился с саламандрами и научил их нырять на дно моря за жемчужными раковинами. Саламандры смешно кричали: «Ван Тох! Ван Тох!» — и бросались в капитана жемчужинами, как горохом. Интересно, конечно. Петька решил прочитать «Войну с саламандрами».

Море шумело холодно, неприютно; послушаешь — и морозцем прохватывает. Небо мутное тоже холодное, из такого неба в любую минуту может посыпаться снег. О снеге напоминают белые хрупкие забереги на речке, сухой ледок в тени домов. А позавчера Петька чуть не заплакал — так жалко стало лета. Всем классом они ходили на рыбокомбинат: проводился урок-экскурсия. Им показали холодильник. В холодильнике было теплее, чем во дворе, пахло свежей рыбой, теплым берегом.

Спустились под мост, отыскали уловное место. Рыбаки взмахивали сачками ниже у забора рыбокомбината. Оттуда несло дымком костра.

— Труш,— сказал Глеб, — давай снасть.

Он сунул сачок в глубокую яму, где кружилась, взбугривалась и щелкала пузырями вода, поводил проволочным ободом, будто нащупывая что-то на дне, и, как поварешку, выхватил сачок из воды.

В сетчатом мешке шелестела, сыпала чешуей корюшка. Глеб вытряхнул ее на песок — сильно запахло свежими огурцами — и снова метнул в яму сачок. Корюшка стыла на песке, умирал ее цвет, умирал запах. Глеб черпал и черпал, потом заморился, отдал сачок Петьке. А когда и Петька стал утирать рукавом пот со лба, решили кончать. Рыбу уложили в обледенелый, застекленевший сачок, Глеб перекинул его через плечо, пригнувшись почти до земли, полез в гору.

На мосту отдохнули и пошли потихоньку, разговаривая.

— Вот корюшка, — говорил Глеб, размахивая рукой, — маленькая рыбешка, а вкус что надо. Все ее едят: и мы с тобой, и твоя учительница, и капитаны дальнего плавания, и летчики... И космонавты будут кушать, только дай. Поджарить бы на сливочном масле — и сюрпризик. Небось ничего такого и не нюхали. Как думаешь? То-то. Вот бы благодарили. А нам что благодарность? Нам бы в космос. Примите... и т. д., не подведем.

У киоска закоченелый, скрюченный старик торговал семечками; он уже не предлагал свой товар, лишь жалобно улыбался, заглядывая в глаза прохожим.

— Продадим ему половину, — сказал Глеб и крикнул: — Дед, купи рыбки, свеженькая, завтра продашь!

Старик дал полтора рубля, отсыпал больше половины, может, вытряхнул бы все, но Глеб поймал его руку и ласково пристыдил. Старик сразу потерял интерес к сачку, принялся

1 Спасибо (англ.).

улыбаться прохожим.

Один рубль Глеб отдал Петьке, в счет долга, пятьдесят копеек оставил себе на обед.

В сенях они, гремя, сняли сапоги, позвали бабку Сидорченку и отдали остаток рыбы. Бабка рыбу взяла, а Глебу все-таки погрозила:

— Смотри у меня, Самохин, я строгая!

Весь вечер бабка жарила корюшку. Петька и Глеб делали уроки. Было тихо, тепло, как дома. И бабка не кричала: «Тушите энергию, не то по рублевке накину?»

Перед уроком русского языка всем раздали тетради. Не было Петькиной, и не получила свою тетрадь Зиночка, такая беленькая худенькая девочка по прозвищу «Льдинка». Она очень волновалась, испуганно мигала большими глазами, царапала ноготками крышку парты. Петька решил, что его тетрадь просто позабыли.

Пришла Стелла Ивановна, принесла книгу и две тетради. Книгу и одну тетрадь бросила на стол, вторую раскрыла, близко поднесла к глазам: она была немножко близорука. Сразу и сердито стала читать:

— «Татарский пролив — старик, он из воды весь и с белой бородой. Мыс Раманон — тоже старик, только каменный и зеленые волосы (из травы) имеет. Третий — Маяк, белый, высокий и светит по ночам сильным прожекторным глазом. Старик Татарский пролив — шумливый, как пьяный мужик, и кидается всегда на старика Раманона...»

Стелла Ивановна замолкла, насуплено оглядела класс и тихо выговорила:

— Что за старики? Камни — старики, волны — старики. Может быть, ты сам, Трушин, старик?

— Старик! — взвизгнул от радости кто-то на задней парте, и Петька вздрогнул: прозовут еще.

— Старик, старик! — захихикали ехидные девчонки.

— Кто назовет одушевленные и неодушевленные предметы? — спросила Стелла Ивановна.

Поднялось много рук, а робкие девочки на разные голоса шепотом выговаривали: «Я... я... и я...»

— Видишь, Трушин, все знают.

Стелла Ивановна взяла тетрадь Зиночки-льдинки, полистала, слегка притопнула носком черной лакированной туфли, требуя тишины.

«Летом я жила у бабушки. У бабушки есть огород. На огороде растут лук, морковка, огурцы и капуста. Я поливала грядки, помогала бабушке. Лук, морковка, огурцы и капуста выросли хорошие. Мы с бабушкой солили капусту Потом ходили за грибами. В лесу пели птицы...»

Дальше Зиночка рассказывала, как они с бабушкой мариновали грибы, варили брусничное варенье и вывязали к зиме Зиночке варежки и носки. Свое сочинение она кончила предложением: «Поправилась я на 1 кг».

Петьке понравилось сочинение. И всем понравилось такое чистое, без ошибок, такое нежное, как сама Зиночка. Петькин сосед, Василь Степин, молчаливый и всегда какой-то немножко заспанный, не вытерпел, толкнул локтем

— Учись, Старик.

Передали Петькину тетрадь, и, пока она шла от парты к парте, все заглядывали в нее. Петька тоже посмотрел двойку, большую, жирную, по ней несколько раз прошелся карандаш, подумал: «Такую ставят, пожалуй, когда очень сердятся».

Стелла Ивановна навела тишину, сказала:

— Ребята, а теперь попробуем написать о родителях кто они, где работают, как вы им помогаете дома. Лучшие сочинения вывесим в классной стенной газете.

Она села, раскрыла книгу, взяла карандаш. Петька так долго смотрел на нее, что она почувствовала себя неловко, подняла голову и, хотя Петька уже опустил глаза, уверенно проговорила:

— Пиши, Трушин.

Петька перелистнул страницу, чтобы не видеть двойку, погладил рукой белую прохладную бумагу, подумал о Зиночкином сочинении и начал так:

«Летом я живу у отца и матери. У отца и матери есть огород. На огороде растут картошка и капуста. Огурцы не могут расти, их съедает туман». Петька подумал и вычеркнул «съедает» туман неодушевленный предмет; написал: «Огурцы не могут расти от тумана. Я поливаю капусту, а картошка сама вырастает. Ее только полоть надо и окучивать тоже. Отец не любит полоть. Все мамка тяпает да я немножко. Еще я рыбачить люблю. В речке ловлю форель, а в море — окуней. Если из окуней и форели сварить уху, адмиральская уха получается. Отец боцманом служил, он знает, чем питаются адмиралы. Лучше я про отца по порядку расскажу. Он давно, еще когда меня не было, боцманил на «Осколе» — такое судно, которое по маякам ходит, продукты развозит. И вот тогда, давно, пришел «Оскол» на Раманон. Это никакой не старик Раманон, а просто мыс так называется, говорят, такой мореплаватель был. Пришел «Оскол», и отец на маяк продукты повез на шлюпке, там мелко около берега. Привез и мамку мою увидел. Нет, не мамку тогда еще, а просто дочку хромого моториста Иннокентьева. Она красивая была, такая вся... симпатичная. И глаза тоже приятные. Наверно, как вы, Стелла Ивановна. Потому что папка сразу влюбился в нее. Говорит, поедем на ту сторону Татарского пролива (который тем более не старик). Поедем, говорит, в город жить. А хромой Иннокентьев отвечает: «Не может она поехать в город, мы потомственные маячные, на разных маяках служили, и тут нам хорошо». И мамка моя, тогда еще просто дочка Иннокентьева, говорит: «Не брошу отца, он у меня последний родной». Боцман, значит, мой отец, уехал от злости. А на другой год опять приехал (это судно «Оскол» раз в год по маякам ходит), увидел опять мамку и совсем влюбился, как говорят мореманы, пошел ко дну. И вовсе не ко дну, а перетащил на Раманон свой чемодан и поженился. Свадьба была, отец мамке шелковый платок подарил и туфли «лакировки». Когда приходят гости, мамка показывает платок и туфли, он сердится, а она не виновата же, что вещи новые. У нас некуда ходить на танцы. Потом я родился на свет. Это хорошо, что я родился, потому что без ребенка — какая семья? И еще хорошо потому, что отец говорит: «Если б не Петька, махнул бы я на волю вольную»,— и на Татарский пролив смотрит. Его капитан «Оскола» зовет. Теперь у капитана новая жена. Красивая, в голубых брючках ходит и курит. А то тельняшку наденет, как юнга бегает. Она на вас, Стелла Ивановна, тоже похожа. Вот только брючки носить ей не надо. Все равно женщины штаны не умеют носить, даже стыдно на них смотреть. Так и получилось — из-за меня отец маячным начальником стал. Да я бы его отпустил, пожалуйста. Я сам вырасту — и на волю вольную. Только мамка говорит: маячные тоже нужны. И жить на маяке можно. Жалко, что кино редко показывают, а лекций вовсе не бывает. И танцевать женщинам негде. Зато природа здесь хорошая и свежего воздуха много. Мне нравится. И огороды здесь можно иметь хорошие. Все больше мы с мамкой огородничаем, папка у нас терпеть не может это сельское хозяйство. И правильно. Моряк должен море пахать. А я помогаю, поливаю капусту, картошка сама растет. И рыбачить еще люблю, форелька здорово ловится на красного червяка... И грибы у нас есть, и птицы тоже поют в лесу. А поправился я на 3 кг».

Чья-то рука потащила за край Петькину тетрадь. Он глянул — дежурный стоял у парты с горой тетрадей, ждал, когда Петька поставит точку. Петьке хотелось перечитать сочинение, но все шумели, хлопали партами, и Стелла Ивановна уже не читала книгу, а смотрела в окно и нетерпеливо хмурилась. Вероятно, был звонок. Петька сразу забыл про все, что написал, бросил дежурному тетрадь и побежал за Василием Степиным — дать ему в коридоре одну горячую за Старика.

— Труш, — сказал Глеб Самохин от порога, ловко метнув пузатый портфель на свою койку,— ты опять сочинение писал? Смешно. Эта училка совсем не перевоспиталась. В прошлом году нас замучила сочинениями. Мне-то ерунда. Я, как Чехов, на любую тему, даже про чернилку могу. А ты «два» оторвал? Чувак. Про огород и бабку не можешь сочинить?.. Летом жил у бабушки, у бабушки огород, на огороде капуста... Сочинять надо,

понимаешь? Выдумывать, как писатели. Ну, если по-нашему, — врать. Ври на «пять». Только не очень длинно — меньше ошибок. Понял?

Петька понял. За это и нравился ему Глеб. Все он запросто знает. Глебу, пожалуй, и учиться не надо.

Глеб вертелся на стуле, обкусывая зубами ногти на чернильных пальцах, косился в маленькое зеркало, которое бабка Сидорченка повесила повыше и с таким наклоном, что чудилось: вот-вот оно упадет. Глеб выпячивал грудь, пучил глаза, опустив нижнюю губу, делал пессимистическое выражение. Когда это ему надоело, сказал:

— Учащимся полагается свежий воздух. И духовная пища тоже. Согласен? Сегодня два варианта. Номер один — крутить пластинки у одной девочки. Мать с отцом в кино уйдут. Чай будет. Станцевать можно. Чудно танцует девочка. Номер два — кино «Ночи Кабирии». Заграничное. Про любовь и воров. Рассказывал тебе.

Петьке не хотелось к девочке. Он страшно стеснялся с ними. Он просто молчал и потел. До того молчал и потел, что балдой делался, злился и убегал. А если не убегал, еще хуже было: ему казалось, что он пьяный мужик, и он начинал идиотски хохотать. Лапал скатерти и занавески, говорил гадости. А на другой день противно было все это вспоминать.

Отсчитали пятьдесят копеек, пошли в кино. Хорошо идти в кино. Рядом длинный Глеб. С ним всегда можно молчать. С ним можно поругаться, если надоест молчать, купить бутылку «Сахалинского освежающего», который, говорят, страшно тонизирует, потому что на корнях реликтовой аралии настоян, разделить сто граммов конфет, съесть у бабки Сидорченки вчерашние прокисшие щи. Глеб никогда не жадничает, не просит лишнего.

У кассы Глеб поднялся на цыпочки, так, что стали видны порванные на пятках носки, изогнулся, влез головой в окно и грубовато сказал:

— Два билетика, деушка.

Наступило молчание. Петька не смотрел на афишу — пусть не думают, что это его касается: «Детям до 16 лет...» Это детям, которые с матерями живут, которых молоком утром поят, которые говорят: «Папочка, купи велосипед» А другие сами в столовую ходят, платят за квартиру бабке Сидорченке, продают корюшку...

Хлопнуло деревянное корытце в окошке, и Глеб выдернул оттуда два билета. Петька не удивился. Которые сами ловят корюшку... Потом, может, в космос полетят.

Теперь легче. Дождались, чтобы скопилась очередь, Петька стал на носки, прикрыл глаза шапкой, пошел, качаясь, подальше от контролерши, а Глеб сунул билеты. Получилось по-человечески — просто и толково. Только когда пробирались во второй ряд, чуть не попали на глаза Стелле Ивановне: она стояла в самом проходе и разговаривала с родительницей Зиночки-льдинки. Зашли с другой стороны, сели и, пока горел свет, не снимали шапок, не вертели головами. У Петьки вспотела спина, ему казалось, что вот сейчас кто-нибудь толкнет сзади, скажет: «Ну-ка, дошестнадцатилетний...»

Но погас свет, и по экрану побежала девушка с большими черными глазами, худенькая и очень нервная. Через минуту здоровенный парень толкнул ее в речку, схватил сумочку с деньгами, убежал. Девушку спасли, когда она совсем тонула... Вот она сидит на крыльце в своей Италии, обхватив руками плечи, смотрит из-подо лба черными несчастными глазами. Девушка хочет познакомиться с хорошим человеком, выйти замуж... В Италии живет Пепе, который из рассказа М. Горького, он поет песенку «Санта Лючия», ходит по берегу в широких краденых штанах, бросает в мальчишек яблоки. Теперь Пепе уже вырос, конечно, работает в Риме и, может, скоро увидит Кабирию. Познакомится с ней и женится. Он не станет сумочку отнимать... Девушка отлично танцует, ее приглашают капиталисты, но все равно ей хочется кушать и выйти замуж. Потом ее привез домой богатый киноартист, ей так было хорошо у него. Она здорово наелась... Пепе каждый день будет кормить ее досыта. Много работать и кормить. Они купят себе домик у моря, возле тех камней, по которым прыгал Пепе, и лодку купят. (Пепе будет петь песни и рыбачить, Кабирия — продавать рыбу богатым и готовить обеды. Потом Пепе сделает революцию, прогонит капиталистов в Америку, а Кабирия станет заведующей детсадом, и детишки будут петь песню про

космонавта Гагарина... К девушке уже пристал другой тип, она смотрит на него черными несчастными глазами и не может угадать, что это просто тип. Такой никогда не сделает революции, такой только к девчонкам приставать умеет. Он сейчас вытворит какую-нибудь гадость. Он уже повел ее куда-то. Он ее ведет, но сейчас что-нибудь... Вот он выхватил у нее сумочку и убежал. И ничего больше. И только огромные, на весь экран, глаза Кабирии...

Загорелся свет. Петька стал искать шапку, она оказалась на полу, прижатая ногой Глеба. Долго, пожалуй, Петька искал шапку, потому что Глеб толкнул его плечом: надо выбираться, пока у зрителей глаза не привыкли к свету.

Вместе с теплым паром, пахнущим духами, мехом, резиновыми ботами, вывалились на улицу. Было лунно и бело. Иней замутил землю, крыши домов, деревья, иней был похож на пролившиеся дождем и застывшие на земле лунные лучи. Море светилось ровно, казалось занемевшим, и красные огни на столбах у рыбокомбината, падая вниз, широко расплывались, как на чистом льду.

Сначала не говорили. Не говорили и когда шли по улице. Около дома Сидорченки Глеб отошел к забору, помолчал и из темноты сказал:

— Вот гады!..

Вернулся, показал кулак:

— Попробовали б они у меня...

И еще сказал Петьке:

— Запишись в секцию бокса. Чтобы таких гадов лупить. Сколько раз встретишь, столько врежь.

Было еще не поздно, но уроки решили сделать утром: бабка уже спала, свет действовал ей на нервы. Потихоньку легли, съели прихваченный Глебом на кухне кусок пирога с рыбой, и Глеб уснул, высунув из-под одеяла ноги.

Петька не мог спать. Сев на кровати, он до хруста сжимал кулаки, бил в темноту — сшибал с ног гадов.

Петька любил географию. И Стелла Ивановна, наверное, тоже любила географию, потому что она рисовала на клочках бумаги колючие горы, пушистые деревья и черные, как змейки, речки. Петька видел ее рисунки, когда выходил к доске, а раз подобрал после урока две сопки, два дерева и кусочек ручья. Сложил вместе — получилась картинка; внизу было написано: «Весна». Еще Стелла Ивановна рисует море: проведет черту, снизу затушует все, а сверху крючков наставит — это чайки. Может, Стелле Ивановне лучше быть географичкой? Тогда бы она на доске рисовала.

За окном идет снег, белый на черную землю. Если долго смотреть, слепнут глаза. К нижним стеклам уже налипли снежинки — получились зеркала, в них можно смотреться. Когда первый снег — делать ничего не хочется; надо просто бегать по двору или сидеть и смотреть в окошко.

Стелла Ивановна говорит:

— Учение о звуках речи называется фонетикой. Слова нашей речи состоят из звуков. Например, слово «ты» состоит... — она подходит к окну, на минуту замолкает, щурится, — состоит из двух звуков: «т» и «ы», а слово «дом»... — Она выводит на доске «дом», снова подходит к окну; темное платье у неё испачкано спереди мелом, и кажется, что оно осыпано снежинками. — В образовании звуков речи, — тихо говорит Стелла Ивановна, — участвуют легкие, дыхательное горло, гортань...

Петька вздыхает с шипением, «согласным звуком», смотрит в свою тетрадь. Под сочинением красным карандашом красивыми сердитыми буквами написано:

«Что за чепуха? Чтоб этого больше не было!»

Правильно написано. Только почему двойки нет? Надо бы и двойку, еще пожирней первой. Петька не обидится. Сам виноват: начнет сочинение, а потом чепуха всякая лезет. Надо же просто: «У бабушки был огород...» Зачем эти всякие старики, хромой Иннокентьев, «Оскол», брючки у капитанской жены?.. Петьке хочется попросить Стеллу Ивановну, чтобы

она никогда не заставляла его писать сочинения. Пусть ставит сразу двойку Он как-нибудь исправит на диктанте или по устному. Петька и сам не станет больше писать. Все равно у него не получится, как у Зиночки-льдинки. Ее сочинение вывесят в стенгазете. Умно у нее про родителей, все по порядку: сначала они перевыполняют план на рыбокомбинате, потом дома отец читает газету, а мать готовит ужин, потом они проверяют Зиночкины тетради, потом Зиночка помогает им мыть посуду... И никакой чепухи. Даже у Василя Степина «3» в тетради. Он на тройку сочиняет. Из него тоже может со временем выйти писатель. Он такой сонный и тихий, будто всегда про себя сочиняет.

Петька вздохнул отрывисто, без шипения, подумал: «гласным звуком». Гласными охают девчонки, когда получат двойки, гласными они кричат, когда их хватают за косы.

Шел тихий снег, и Стелла Ивановна тихо говорила про гласные и согласные. Ее слова, такие маленькие и чистые, падали, как снежинки. Она, конечно, не любила русский язык. Ей бы только географию да географию... Вот бы приехала на Раманон — там действительно география!

Как рассказать ей про Раманон? Подойти Петька не сможет, сразу вспотеет и замолчит. Если бы написать без чепухи, как Зиночка. Потом дать Глебу подправить. А не получится, пусть Глеб сам напишет.

Петька колеблется: писать или не писать?.. А сам видит ручей — тот самый, из которого на Раманоне берут воду, на перекате вскипает пена, ветер выбеливает ею берег, а в струях если наклониться и пить, мелькают форели.

Он вырвал из середины тетради листок, перегнул пополам, чтобы меньше стал, положил в раскрытый учебник русского языка и, много раз ткнув в него сухим пером, начал писать:

«Стелла Ивановна, вы, наверно, любите географию. Приезжайте на Раманон. Раманон настоящая география. Там все география. И такие ручьи есть, как вы рисуете на бумажках. Только они не черные, они зеленые, и форелька в них плавает. А деревья пушистые, как у вас бывают, когда иней на них насядет. И сопки такие колючие весной, потому что листьев еще нет. Мой дед, хромой Иннокентьев, говорит, будто листья проклевываются от любопытства — посмотреть, какое солнце и какая земля. Когда я был маленьким, я думал, что в каждой почке сидит липкий зеленый птенчик, а потом стал думать, что по лесу летают птицы и проклевывают почки. На Раманоне первым пускает листья тальник в овраге, за ним — ольха. Береза и тополь зеленеют, когда я уже из школы приеду. Дед всегда говорит: «И березы рады тебе, вишь, как наряжаются». Это он по малограмотности, я-то знаю, что деревья неодушевленные. Вы, Стелла Ивановна, когда приедете, не очень с дедом разговаривайте: он отсталый. Пусть только сделает свисток из медвежьей дудки, это он здорово умеет, и всё. Отец — другое дело, отец на «Осколе» служил. Он сам покажет маячную башню. Поднимитесь когда, голова закружится. Линзу посмотрите, на ней написано: «Париж, 1895 г.» Даже без света на нее больно смотреть, такая блестящая. Хрустальная вся. А я покажу вам пещеру под Раманоном, которая похожа на его рот, там в прилив грохочет вода, отрываются камни. Там можно найти потом живого краба, серого, лохматого, и сварить его на берегу в ведре с морской водой. Краб станет красный и красивый. Надо ломать его лапы, ножом резать панцирь и кушать мясо. Вкусное мясо, вкуснее даже, чем в банках, которые «Снатка» называются. Вечером тоже бывает красиво, когда в Татарский пролив солнце тонет, и ветер траву на Раманоне гладит, будто волосы ему гребешком чешет. А потом линза на маяке шевельнется, потихоньку поведет глазом, и загорится маяк. Мигнет в море, посмотрит: в порядке ли там все, отдохнет немножко и еще посмотрит. Он, конечно, неодушевленный, маяк, но так кажется. Вы, Стелла Ивановна, будете сидеть и мечтать про географию... Приезжайте на Раманон. Добраться легко. Сначала на катере, потом на машине, переплывем речку, потом пешком 10 километров. Ерунда!»

Три дня Петька носил в ранце письмо. На четвертый, когда они с Глебом, померзнув на речке, принесли домой полмешка корюшки, Петька вспомнил про него. Достал и дал прочитать Глебу. Руки у Глеба еще не отошли с мороза, он держал их в карманах и читал,

согнувшись вопросительным знаком над столом.

На кухне трещало, лопалось масло — бабка Сидорченка жарила корюшку.

— Чувак! — сказал Глеб. — Ты что, девчонка, что ли? Художественный рассказ развел!

Он сходил на кухню, принес спички, чиркнул скрюченными, посинелыми пальцами, поджег письмо. Оно вспыхнуло, осветило сердитое лицо Глеба, и сухой пепел, ломаясь, тлея, рассыпался по комнате.

ЗВОНКАЯ БОЧКА

Солнечный луч, выписав на желтой бревенчатой стене яркий переплет рамы, медленно опускался вниз, к Тимкиной кровати. Проснулся кот, прыгнул на подоконник, погрел мятую мордочку, пожмурился и снова уснул. На стене обозначилась его горбатая тень. Поэтому Тимка и не встал вовремя. Всегда так: вздумается коту погреться на подоконнике — Тимка проспит: солнце дольше подбирается к его голове.

Встал Тимка сердитый, разлохмаченный, стащил на пол кота и дал ему хорошего пинка. Матери уже не было дома, ушла работать; на плите стоял завернутый в полотенце чугунок, в нем — завтрак, наверное рыба и каша. Тимка выскочил во двор и тут вспомнил, что забыл прихватить мешок под стружки. «И почему мать перестала ходить в бондарку за стружками? — подумал он. — То каждый день ходила. Дядя Антон лучшие обрезки ей припасал...»

Прижав колючий мешок локтем, ежась от свежего ветра, пустился Тимка по росе через кустарник стланика к бондарке. Подбежал мокрый, будто вынырнул из воды, остановился, прислушался.

Та-та-та!.. — рвался из-за двери чистый складный перестук. Тимка слушал его, радовался ему, как хорошей музыке.

Набрав побольше воздуха, чтобы успокоиться, он дернул дверь. Звуки вырвались из бондарки, запрыгали по пенькам, полетели над мокрыми кустами к лесу, где их ждало и окликало эхо. Тимка быстро закрыл за собой дверь, запер звуки, и они громче застучали в окна, стены, потолок.

Дядя Антон ходил вокруг бочки, бил молотком по набойке, а та, как живая, приплясывала на обруче. Изредка набойка срывалась, из-под нее брызгали белые искры и слышался острый скрип. Этот скрип не нравился Тимке, и он думал, что, когда научится делать бочки, у него уж не будет срываться набойка.

Дядя Антон коренастый, крепкий и поворотливый. И очень рыжий, как он говорит — «огнистый». А это точно — огнистый. Тимка много раз видел, как борода у него вспыхивала, становилась совсем красной на солнце или у камина вечером. И потом, какой-то чудной дядя Антон: уехал из города, скучает по родным, но живет один. И бочки делает; никто в поселке не умеет бочки делать.

Та-та!.. Тра-та-та! — тупо бьются в стены, отскакивают от стекол, гудят в пустом нутре бочки звуки.

Тимка думает, что дядя Антон уже увидел его, но, как всегда, немножко хитрит, чтобы потом удивиться и сказать: «А-а, мастер-мастерок, человек с ноготок!» Тимка ждет, нетерпеливо мнет ногами стружки, и ему кажется, что дядя Антон сегодня не замечает его. Вот он набил нижний обруч, стал натягивать на торец верхний. Борода его попала в солнечный свет, красно засветилась. Тимка прихлопнул поплотнее дверь, подошел ближе, сказал неловко:

— Здрасьте.

Дядя Антон, не поднимая головы, ответил:

— Здравствуй, браток, — и застучал молотком по обручу так быстро, что с его острого носа упало несколько капель пота.

Тимка обрадовался — дядя Антон не спросил, почему он опоздал, и не надо

рассказывать про кота,— живо снял пиджак, сел верхом на свой услон. И теперь, уже не торопясь, деловито выбрал клепку, зажал в головке услона, взял наструг и принялся строгать.

Вжжиг, вжжиг!.. Отлетают стружки, длинные, с пахучими мазками смолы. Вжжиг, вжжиг!.. От каждой стружки — желтый блеск, от каждой — струйка крепкого запаха.

Не просто сделать бочку — такую, чтобы звучала, как бубен, подпрыгивала, как мяч; чтобы пустил в воду — не утонула, налил воды — десять лет держала.

Трудно сделать бочку, особенно в первый раз. Одних клепок штук пятнадцать надо. У Тимки их десять. Вот они — ровные, гладко выстроганные. Правда, не такие, как у дяди Антона, чуть похуже, но и из них может получиться бочка. Тимка будет шмыговать клепки — подравнивать им бока, потом соберет их в обруч и станет гнуть дупель, — а это уже бочка, только без доньев.

Окна косыми солнечными прожекторами рассекают бондарку, в их горячем свете шевелятся, ворочаются, как живые, скопища пылинок. Если дунуть — они завихрятся метелью. Душно. А на улицу и посмотреть нельзя: река, желтый берег, кусты стланика — все светится, сияет, слепит. Тимка отодвигает свой услон от солнца, но через несколько минут оно снова припекает ему спину. Рубашка мокреет, пот щиплет глаза, каплет с носа, как у дяди Антона, солонит губы.

В бондарку с мешком в руках входит Аграфена, очень толстая, румяная и насмешливая женщина. Она всегда старается ущипнуть Тимку за нос и всегда говорит: «Ну, как дела, мужчинка?» Особенно злит Тимку «мужчинка», и ему хочется при Аграфене казаться старше, строже. Но и это ее веселит. «Смотри, какой у тебя помощник грозный!» — восторгается она, ласково глядя на дядю Антона.

«Опять за стружками»,— подумал Тимка и отвернулся, чтобы не догадалась Аграфена, как он не любит ее.

Аграфена сразу заговорила, завеселилась. В бондарке повеяло духами и магазинным платьем — Тимке захотелось чихнуть. Но дядя Антон будто и не увидел Аграфену, не сказал ей ни слова. Она обидчиво, как маленькая, надула губы, сердито сощурилась, очень тоненько проговорила:

— А скучища-то какая тута! Иль помер кто?

Быстро нагребла каких попало стружек, пошла к двери, так поводя мешком, что, казалось, и мешок был чем-то очень недоволен.

Интересно: дядя Антон ничуть не боится Аграфены, даже подшучивает над ней, а если Тимкина мать придет, совсем теряется, краснеет, как мальчишка, и даже голос становится у него какой-то слабый, пугливый. Мешок ей сам набивает — и обрезками самыми лучшими, потом несет до двери и улыбается, точно виноватый. Раз вечером до самого дома нес.

Но вот уже три дня мать не приходит за стружками. Может, некогда?.. Почему же тогда Аграфена сказала Тимке: «Твоей мамке нельзя ходить в бондарку — Антон разучится бочки делать»?

Тимка доструживает вторую клепку, кладет на колени наструг, смотрит как работает его друг. Дядя Антон обошел вокруг бочки, обстругал ее молотком, обслушал. Молоток отскакивал, точно от бубна, бочка звучала упруго, гибко — каждой тонкой, туго натянутой клепкой. Дядя Антон повалил ее набок, сильно толкнул ногой. Бочка, подпрыгивая, открыла дверь, выкатилась во двор, желто сверкнула на солнце и скрылась под навесом — там рядами горбились такие же свежие желтые рыбные бочки.

Дядя Антон улыбнулся: «Ловко, правда?» — и сказал:

— Перекурим?

— Пора! — соглашается Тимка и поглядывает на дощатую перегородку, за которой живет дядя Антон.

Там стоит кровать, стол, вместо стула прилажен старый бочонок. И пахнет всегда табаком, хлебом, луком — всем таким хорошим, как в шалаше на рыбалке.

— Опять не завтракал? — перехватил Тимкин взгляд дядя Антон и необидно нахмурился. — Ну, закуси малость. — Он уже затянулся толстой самокруткой из газеты, и в

открытые окна длинными плоскими струйками плывет острый табачный дымок.

Тимка идет за перегородку, ест кашу с салом из закопченного солдатского котелка — у дяди он остался со службы, — запивает холодным молоком и думает: «Почему Антон сегодня такой строгий?..» Вот он вздохнул тяжело и шуршит газетой — снова свертывает папиросу. Тимка прислушивается, и, хоть каша очень вкусная (как дядя говорит: «антоновская») и хочется еще есть, он облизывает ложку и со стуком кладет ее рядом с котелком: неловко возиться с кашей, когда другу так тяжело.

Тимка подходит к своему услону, садится и тоже вздыхает. Дядя Антон смотрит на него, потом говорит:

— Хорошо, браток, что чувствуешь чужое горе, товарищем будешь. Только ты не вздыхай, рано еще. — Дядя несколько раз подряд затянулся, выпустил облако дыма, поплевал на папиросу. — Каждому человеку бывает трудно. Вот и моя очередь пришла... Ты знаешь, Васек у меня есть, сынишка. Так вот, он не приедет к нам сюда — мать не желает ехать... Тайги, значит, боится, квартиру городскую жалко, а может, еще почему-то... — Дядя Антон прячет в карман кисет, его коричневые и шершавые от дерева пальцы мелко дрожат. — Это не то что твоя мать — вдвоем с тобой прикатила... — Он, щурясь, смотрит в окно.

Тимка заметил на верстаке, в углу, где скапливались мелкие, похожие на пыль стружки, белый конверт с большими марками и печатями. Он собирал красивые марки, но эти ему не захотелось даже посмотреть.

Дядя Антон рассказывал про Ваську, и Тимка знал, что он учится в третьем классе, любит мороженое и цепляется за автомобили; и еще любит рыбачить и ходить в лес. Он немножко конопатый, немножко рыжеватый — «в меня пошел,— говорит дядя,— огнистый» — и немножко драчун. Но это ничего, что драчун. Раз-два задать ему трепку — живо перестанет кулаками махать. Зря Васька не приедет. Тимка так ждал его, даже удочку ему выстругал и за поселком, на мари, гнездо бекаса с желторотыми птенцами для него отыскал.

Вот бы письмо написать Ваське...

— Ну, мастер-мастерок, кончай мечтать, будем работать! — сказал очень громко дядя Антон, подкатил новый дупель и принялся осаживать обручи.

Тимке теперь казалось, что набойка и молоток у дяди Антона стучали не очень складно и звуки были невеселые.

Когда в окнах бондарки погасло желтое вечернее солнце и стёкла глубоко засветились синим небом, Тимка пошел домой. Он отшмыговал все свои пятнадцать клепок и завтра будет собирать дупель. А если постарается, то и донья вставит — вот и бочка. Полуцентнеровка, «икрянка», как говорит дядя Антон. Тимка унесет ее домой и отдаст матери — в хозяйстве пригодится.

Бочка как бубен,
Бочка как мяч.
Тронь эту бочку —
Пустится вскачь! —

приговаривает Тимка, подбирая шаг, и смеется, смеется потому, что немного устал, что из-за сопки дует соленой сыростью моря, всегда такой тревожной, куда-то зовущей; потому, что хочется увидеть мать, заглянуть ей в глаза, что-нибудь сказать хорошее — он ведь целый день ее не видел. Тимка шагает быстрее, затем бежит, думает: «Только бы не ругалась, что поздно явился», — на ходу загоняет во двор поросенка, бросает у сарая мешок со стружками и вспрыгивает па крыльцо.

Мать только пришла, от нее пахнет свежей рыбой, брезентовый фартук — в блестках чешуи. Она работает резчицей на плоту, хорошо работает. Тимка знает это: ее портрет никогда не снимают с доски Почета у конторы.

Знает Тимка и то, что мать у него «симпатичная и нравная». Об этом сказал в прошлом году Кешка-рыбак, здоровый, сильный парень, к которому подойдешь — и робко становится,

такой он грубый. «Мамка, говорит, у тебя симпатичная и нравная бабенка, пошел бы за ней к самому черту в пекло, а вот ты курносый и конопатый, — наверно, в отца-стервеца уродился», — и так ухватил Тимку за ухо, что у него из глаз искры посыпались.

Тимка долго думал, что такое «нравная», а потом спросил у матери и понемножку рассказал ей все. На другой день он увидел, как мать подошла к Кешке-рыбаку, отозвала его в сторону и что-то такое сказала, что грозный Кешка покраснел, жалко заулыбался и ушел, страшно глянув на Тимку.

А ему и сейчас непонятно, почему Кешка испугался его матери. Она совсем и не сильная и даже плачет потихоньку, когда кто-нибудь ее обидит...

Тимка смотрит в глаза матери, потемневшие, слегка прикрытые, пожалуй, от усталости, спрашивает:

— Сколько нарезала?

Она улыбается — так она улыбается только Тимке, — говорит:

— Три с половиной тыщи!

— Ого! Три с половиной тыщи! — Тимка берет мать за руку, прохладную, влажную, вспухшую от воды. — А я все пятнадцать отшмыговал, завтра бочка будет!

— Молодец!

Мать ворошит ему нечесаные волосы, вздыхает, наверное опять думает, что некому следить за ним, Тимкой, — будто он маленький! — и идет на кухню.

Ужин готовят вместе. Тимка растапливает печку, наливает в кастрюлю воды, потрошит рыбу горбушу — знает, эта работа надоела матери на плоту, — затем идет на огород нащипать зеленого луку. У них только две грядки, но зовут они их огородом, сами раскорчевали землю, перемотыжили и загородили. Посадили всего понемножку. Есть лук, огурцы, помидоры и даже два арбуза. Лук растет хорошо, ему нипочем туман и, как говорит мать, не боится морского духа; огурцы чуть завяжутся — и сразу желтеют, этакие маленькие старички; помидоры приходится солить зелеными, а арбузов и совсем не бывает, так просто посадили, чтобы Тимка увидел, какие у них листики и стебельки.

В огороде роса, пахнет огуречной и помидорной ботвой, чем-то нездешним, южным, солнечным. Тимка жадно дышит, словно хочет пропитаться этими запахами, и, не торопясь, долго щиплет першащее нос матово-зеленое луковое перо. Бродит Тимка между грядок, мокнет от росы, а думает, что он где-то далеко, за горами, куда прячется солнце...

Сегодня в гости пришла Аграфена. Она дала о себе знать еще во дворе: громко стукнула калиткой, толкнула за что-то поросенка — тот взвизгнул. Поднялась на крыльцо, увидела в окне свое отражение, быстро прихорошилась, крикнула, открывая дверь:

— Ой, Милашка, чтой-то я тебе расскажу!

Тимкину мать звали Мила, но Аграфена кликала ее только по-своему, да и Тимку она называла, как ей вздумается: если веселая — Тимчиком, если сердитая — Тимохой. Очень любила свою поговорку: «Мы, солдатки, бабы хватки», а когда с кем-нибудь ругалась, то кричала: «Я тебе покажу Сталинград!» Кешка-рыбак говорил, что она самая ласковая женщина на планете Земля.

Аграфену пригласили ужинать, но это просто так, для приличия: она уже сама шла к столу, прихватив по пути стул. Села, аж стул ахнул, торопливо, причмокивая, хлебнула несколько ложек супа, повернулась к Тимке спиной и что-то интересное зашептала матери.

Тимка стал быстрее работать ложкой и, чтобы не подслушивать, даже причмокивал, дразня Аграфену, но все равно в его уши просачивались слова:

— Антон... город... любит...

Мать замахала руками, застыдилась, сказала:

— Что ты, Агашка! Ну как тебе не стыдно!

Тимке захотелось сказать Аграфене: «Никакого города дядя Антон не любит, а если б любил, так давно бы уехал», однако не решился и ушел в другую комнату на диван.

Он стал думать о Ваське, о городе, в котором Тимка когда-то тоже жил, но которого совсем не помнит. Помигивает лампочка, слышится ровное, как дыхание, похрипывание

электростанции: сегодня свет будет гореть всю ночь — на плоту много рыбы. Доносятся голоса, плеск воды. На катере завыла сирена, близко крикнула чайка. Затем все это смешалось, снова разделилось и стало постукиванием молотка, шуршанием стружек. С Васькой напару Тимка делает бочку, и бочка эта необыкновенная — живая, она говорит, как Буратино, и даже напевает вместе с ними: «Бочка как бубен, бочка как мяч...»

Тихо скрипнула дверь — Тимке показалось, что это лопнул на бочке обруч, он открыл глаза и увидел мать. Сразу вспомнил, что собирался кое о чем с ней поговорить. Мать присела на край дивана, стала мягко, почти неслышпо перебирать взъерошенный Тимкин чуб. Тимка сказал:

— Вот, послушай, у нас в городе была квартира?

Мать качнула головой.

— И водопровод и ванна?..

— Да.

— Наверно, поэтому папка и не поехал с нами. А может, и тайги побоялся...

Рука матери дрогнула, пальцы остановились и сразу сделались тяжелыми. Тимка услышал вздох и скорей успокоил мать:

— Нет, ты не думай, мне не жалко такого труса.

Тимка рассказал, что Васькина мать тоже такая же, а может, еще и хуже — сама не едет и Ваську не пускает. Дядя Антон говорит, что ему придется жить одному.

— Давай его на квартиру возьмем, у нас же две комнаты, — выговорил Тимка давно обдуманные слова. — А то Аграфена к себе звала...

Мать встала, подошла к зеркалу, оттуда сказала как-то очень спокойно:

— Твоему Антону завод квартиру даст — он хороший работник. — Она помолчала и вдруг отчего-то рассердилась. — А тебе спать пора!

Щелкнул выключатель, погас свет.

«Опять не получилось разговора, — думал Тимка. — Нет, не умею я... Вот бы как Аркашка Тишкин, завклубом, тот больше стихами, да так здорово получается! Скажет: «Приглашаю, дамы, вас и на танго и на вальс», и все улыбаются...»

На диван прыгнул кот.

— А-а, — тихонько простонал, обрадовавшись, Тимка, схватил его за шиворот, поднес к окну и выбросил во двор.

Утро было солнечное, в росе и свете купалась тайга и дышала на поселок острым смолистым ветерком. Река голубой просекой уходила в лиственничный шум, курилась паром, будто подогретая со дна. Море за сопкой молчало и только изредка гулко перекатывало в пещерах эхо: там срывались подмытые камни. Чаек было столько, что небо казалось рябым, а река — в белых островах.

Тимка увидел на берегу дружка Лешку. Он стоял по колена в воде, ежился и полоскал икряные сита. Лешка работал у деда Аникеева, мастера-икрянщика, помогал разводить тузлук, упаковывать в бочата икру. Он был старше Тимки и уже зарабатывал деньги. На первую получку выпил немного водки, ходил пьяный и ругался, а потом ему так досталось от отца, что он и теперь не любит вспоминать об этой гулянке.

Лешка крикнул Тимке:

— Бондарь-лондарь, как дела?

— Хорошо, Леха-выпивоха,— сказал Тимка и побежал к бондарке.

Лешка выскочил из воды, но раздумал догонять и погрозил красным, измазанным икрой кулаком.

Снизу от моря одна за другой плыли эвенкийские оморочки. Лодки до краев были наполнены горбушей и сами походили на больших плоских рыб, сверкающих чешуей. Чайки вились над головами рыбаков, падали в оморочки, стараясь украсть мелкую рыбешку.

«Рыба валом прет, план выполним!» — говорит Тимка слова, услышанные на плоту, и бежит быстрее, перепрыгивая через камни, промытые добела кряжины. От бондарки уже

доносится стук молотка, грохот набойки и запах свежих листвяжных стружек.

Тимка открывает дверь навстречу веселым, радующим звукам и замирает у порога. Что такое? Кто это в белой новой рубашке ходит вокруг бочки? Да это же дядя Антон! А где борода? Нет, как не было! Лицо гладкое, выбритое и такое молодое, будто до этого дня дядя Антон подклеивал бороду.

— Что, не узнал?.. Вот тебе и «огнистый»! — усмехается дядя Антон.

Тимка хохочет, трогает пальцами его подбородок, отпрыгивает, точно обжигаясь, приплясывает на шуршащих стружках.

— Сегодня день мне понравился, — говорит дядя Антон. — Да и бочка у тебя первая будет — праздник!

Он взял маленький обруч, в который собирал бочки-икрянки, поставил в него одну клепку, прижал ее железной прищепкой.

— Ну-ка, мастер-мастерок! — Дядя Антон медленно отступил.

И Тимка, краснея, как на уроке в школе, начал составлять клепки. Сверху они плотно прилегали одна к другой, внизу расходились веером все как полагается! Дядя Антон курил, щурился, улыбался.

Гнуть дупель пошли вместе. Тимка потихоньку крутил ворот, а дядя Антон ловко катал в петле стального троса потрескивающие клепки, похожие на большой желтый цветок с раздвинутыми лепестками. Понемногу упругие деревянные лепестки, изгибаясь, сходились концами друг к дружке, словно собирались в бутон. Когда они совсем сошлись и дядя Антон накинул на торец обруч, родился дупель.

Тимка подбежал к нему, крутнул, катнул — и успокоился: дупель был что надо! Только, правда, пухловатый получился, ну это ничего — даже красивее так. Больше всего Тимка боялся, что дупель лопнет. А такое случается. Даже у дяди Антона первый дупель лопнул. Дед, который учил его, рассердился страшно, сказал в сердцах: «Не стать тебе мастером!» — хотя и сам был виноват: крепко подвыпил перед этим и пережал клепку. Дядя Антон чуть не плакал тогда от обиды: лопнувший дупель — плохая примета.

— Тебе повезло, браток! — сказал дядя Антон и сел строгать клепку.

Тимка принялся выпиливать из сколоченных досок донья. Это тоже не просто. Пила не слушалась, старалась увильнуть от вычерченного циркулем круга. Рубашка на спине Тимки опять взмокла, глаза пощипывало от пота, да еще муха привязалась — крутится у самого носа. Тимка упрямо не выпускал из рук пилу, будто она живая и он не хочет ей уступить: я тебе покажу наших!

А на душе у него — как перед большим праздником. Он чего-то ждет, чему-то радуется: он знает, что завтра будет еще интереснее и веселее. Даже не поднимая головы, Тимка видит дневное сияние за окном, блеск воды, рыбаков на плоту, катера в море. Всему сегодня хватает места в Тимкиных глазах и душе. И не потому, что он делает бочку, просто бочку, а потому, что этой бочке будут радоваться мать, дядя Антон, эта бочка поможет Тимке стать важнее и нужнее для всех других людей.

И бочка была сделана.

Солнце последний раз глянуло из-за сопки, поиграло длинным лучом на обруче и, убедившись, что досветило Тимке до конца, скрылось. Тимка положил молоток, сел на услон. Ладони горели, словно с них сняли кожу. Большой палец на левой руке почернел, пришибленный набойкой, запекся под ногтем. Чтобы не увидел дядя Антон, Тимка прятал его: терпеть не может жалостей, утешений.

Бочка стояла желтая, душистая и важная, оттого что слишком пухлая вышла. Казалось, вот-вот она поднимется на коротенькие ножки и вразвалочку пройдется по бондарке. Дядя Антон толкнул ее, она подпрыгнула, потешно заохала, и, когда остановилась, в ней еще долго пело и звучало внутри.

— Бочка как бубен! — пошутил дядя Антон и скомандовал: — Ну, теперь купаться, товарищ мастер!

От реки они вместе пошли к Тимке домой. Нес бочку дядя Антон на плече. Тимка шагал рядом и старался не глядеть на нее: пусть не думают, что он хвастается. Хвастать можно чем-нибудь не таким, ну, например, перочинным ножиком, значком заграничным или пятеркой в тетради. А это другое дело, это — работа...

Возле икряного домика встретился Лешка. Тимка на всякий случай прижался к дяде Антону, но Лешка от удивления забыл про «выпивоху», кивнул на бочку:

— Твоя, что ль?

Мать уже вернулась с работы. Она успела переодеться и вышла на крыльцо в белом новом платье. Она была сегодня очень красивая и какая-то немножко чужая; может, потому, что Тимка редко видел ее такой нарядной.

Дядя Антон не вошел в калитку. Он перекинул бочку через забор и легко пустил по доске, проложенной к крыльцу. Бочка стукнулась о ступеньку, гукнула, будто что-то сказала, и замерла желтым шаром у ног матери. Тимка схватил за руку дядю Антона, торопясь и заикаясь, проговорил:

— Пойдемте к нам чай пить...

Дядя Антон глянул на мать, улыбнулся виновато, как всегда в бондарке, и заспешил:

— Ну, я потом как-нибудь, сейчас некогда...

«Какой стеснительней», — подумал Тимка, повернулся к матери — почему она не приглашает? — и сразу понял: что-то неловкое получилось. Мать опустила глаза, покусывала губы, стояла совсем растерянная.

Дядя Антон быстро зашагал по улице.

Мать вошла в дом, остановилась у стола, зачем-то поправила скатерть, а потом долго смотрела из распахнутого окна.

За переулком Тимка увидел Аграфену. Вложив руки под фартук, она привалилась плечом к косяку сеней и не то улыбалась, не то хмурилась. На ней было вчерашнее новое платье.

Тимка сел на крыльцо и задумался. Впервые, может, так задумался. Конечно, глупый он человек, Тимка. Все у него нескладно получается, неловко для других. Почему? Он же хочет, чтобы всем было хорошо. Он же их любит: и мать и дядю Антона. Он любил бы даже Аграфену, если бы она не дразнилась и не щипала за нос. И еще: почему они спрашивают друг о друге у него, Тимки, а сойдутся — поговорить не могут? Смешные все-таки...

Стало темнеть. Дома, деревья сливались, точно кто-то сдвигал их, да так плотно, что они постепенно теряли себя, и только на светлом небе еще виднелись их смутные очертания. Река серебряно белела, и казалось, что весь свет, который был в воздухе, исходил от нее. Потом вспыхнули огни, будто везде сразу чиркнули спичками, и яркими глазами поселок глянул в таежные сумерки.

Дома светились изнутри, были полны жизни, очень знакомой и так мало еще понятной Тимке. Ему подумалось: люди знают друг о друге что-то такое, что он узнает не скоро, когда вырастет. Тимка вздохнул. Он погладил рукой гладкий выпуклый бок своей первой бочки и тихо запел:

Бочка как бубен,
Бочка как мяч...

КОНИ

Разом прозвучали два выстрела. Петрухин проснулся, и первую минуту ему думалось, что выстрелы раздались во сне. Он припомнил сон: виделось лето, море на юге, тишина... Приподняв подушку и дотянувшись рукой до настольной лампы, Петрухин включил свет. И как-то сразу понял: выстрелы прозвучали на краю села, оба из дробового ружья. Он посмотрел время. Было два часа десять минут.

Море шуршало снежной шугой, несильно билось о ледяной припай. За окном черно стояла ночь. По всему селу на разные голоса тявкали собаки. Где-то далеко топко прозвенел женский смех (затянулось свидание). Сторож на рыбозаводе ударил в рельс — наверное, с перепугу. И все это неярко, сквозь шум моря, и быстро затихло, будто утонув в темноте водных глубин.

Мимо окна резко, торопливо проскрипели шаги; нетерпеливо, чуть слышно взвизгнула собака; уже издали послышались слова команды. Это патрульные ушли на задание.

Петрухин встал, натянул брюки и сапоги, накинул китель. Подумал о патрульных: «Минут пятнадцать они будут идти до места происшествия, минут пять — там, пятнадцать — назад. Итого...»

Из умывальника хлестко капала вода.

Петрухин намочил край полотенца, отер лицо и принялся размеренно ходить по комнате: шесть шагов к двери, шесть — к окну. Это было его привычное напряжение. Он ждал и ни о чем не думал — не отвлекался, но и беспокоился не очень, держал себя «на взводе», как сам определил это свое состояние. Так легче было ему перейти к действию, любому решению.

В два пятьдесят он пошел к телефону, но только протянул руку — зазвучал зуммер.

— Слушаю...

— Товарищ лейтенант! Докладывает старшина Манасюк. Стрелял колхозник Козольков. Дикие лошади напали на его двор, уничтожили сено. Произвел два выстрела жаканами из двуствольного дробовика.

— Ясно, Манасюк.

Старшина помолчал, сильно дыша в трубку, и другим, чуть сонным голосом сказал:

— Товарищ лейтенант, а это те, наши коняги...

— Ложитесь спать.

— Слушаюсь!

Трубка щелкнула, и в окне зашуршало, зазыбилось, подступив черной стеной, зимнее море. У заставы сменились часовые: отрывисто проскрипел снег, звякнули приклады.

Петрухин разделся, лег. Выключил свет. Стены ушли в темень, исчезли, а окна проявились глубокой синью, будто и вправду в них стояла вода. Они были стылые, от них сквозило, и с каждым толчком моря в комнате становилось холоднее. Печь едва теплилась, замирая в темноте угла.

Хотелось сразу уснуть, и он даже скомандовал себе: «Отбой!» Но на сей раз привычка «не сработала». Пришлось поправить подушку, подоткнуть одеяло, повернуться на бок. Медленно, широко закружилась голова, сильнее обозначились удары моря о ледяной припай. Они звучали долго, неотступно, а после стали конским топотом, и этот топот вынес Петрухина в лето, горячий свет, в зеленые, раздольные бамбуковые сопки.

На остров Петрухин прибыл в конце июля, когда начальника заставы уже не было: его вывезли с тяжелым приступом лихорадки. Личный состав, имущество пришлось принимать у старшины Манасюка, и с ним первым познакомился Петрухин. Застава была маленькая, строгая и опрятная — это сразу отметил он. Старшина доложил, что за три недели июля было два нарушения границы: задержали рыболовную шхуну и «капустник» — так называли здесь маленькие деревянные кавасаки, на которых плавают японские добытчики морской капусты. Петрухин познакомился с солдатами, пообедал за общим столом, принял в канцелярии все документы. На закате солнца они со старшиной вышли к морю.

Петрухин огляделся, прищурился на яркую воду, вскинул голову и длинно выдохнул:

— Ай-а-ай!..

Он летел на самолете, потом вертолет перенес его на этот клочок земли в океане; он смотрел с неба на беспредельные, будто затвердевшие воды, дымящиеся облачками хребты, горы, впервые увидел конусы вулканов — и молчал, чуть напуганный, удивленный. Он не совсем верил в реальность этой дальней дали.

Земля была под ногами, воздухом он дышал, море можно потрогать, и глаза не обманывали: за проливами поднимались к тучам вулканы Хоккайдо, под ними, едва видимые, белели японские шхуны; позади заставы — дощатый рыбацкий поселок (здесь тоже когда-то жили японцы); дальше — гладкие бамбуковые сопки, еще дальше — огромный вулкан с белой дымкой над кратером.

Старшина водил рукой, называл мысы, заливы, вулканы; достал из воды большую плоскую раковину, раскрыл — как на блюдце, лежал, подергивался розоватый студенистый моллюск.

— Хотите на ужин?

Петрухин сморщил нос, отвернулся.

— Когда поедем границу смотреть? — спросил старшина.

— Завтра же.

Петрухин ушел к себе в комнату и, пока не померк на море свет, стоял у окна, смотрел, думал, вздыхал — вживался в остров, в свою новую, долгую службу.

Утром его не разбудили, дали поспать. Встал он поздно. Море опять было полно света, движения, его всполохи омывали стены, потолок. Повар принес в комнату завтрак, кофе в термосе. На тарелках и термосе играли беглые блики. Съев все, выпив кофе, Петрухин вспомнил, что собирался ехать, вышел и увидел Манасюка: он сидел на ступеньке крыльца. Рядом сиял начищенный заставский «газик». Старшина вскочил, взяв под козырек, доложил. Ночь прошла без происшествий.

— Вольно, — сказал Петрухин и влез в машину.

Манасюк сел позади, шофер-ефрейтор, скосив глаз на «новое начальство», одним рывком вывел машину за ворота заставы.

— Говорите, — попросил старшину Петрухин.

Машина неслась по песчаной улице, мимо маленьких, сколоченных из досок непривычно игрушечных домов. Стояли они тесно, будто боялись затеряться в нелюдимых сопках и долинах, смотрели друг другу в окна, точно в глаза. На огородиках цвела картошка — она была такой же, как на Большой земле, только потучней, поразлапистей, а палисадники удивляли: вместо цветов в них под самые крыши вились дикие лианы. Свое, российское, здесь уживалось еще с тем, что оставили после себя островные люди

— Ну, товарищ лейтенант, слушайте лекцию,— заговорил, кашлянув, с усмешкой Манасюк. — Поселок видите какой. Дома на курьих ножках. Другие здесь не устоят земля часто трясется. Работа — рыба самая разная, крабов ловят, морского зверя бьют. Это потом сами изучите. Люди — больше с Волги, из бедноватых сел. Здесь живут крепко: заработок, северные, рыба бесплатно, огороды. Правда, тоскуют по материку, уезжают, опять приезжают Да вы знаете, пока русский мужик осядет — вдосталь намотается: все ему кажется, что за горой лучше. Ну, климат — тропики. Лес тоже увидите. Охота, рыбалка как в доисторическую эпоху.

— Все? Недлинно.

— Для начала хватит

— А клуб, девчата?

— Это есть. — Манасюк помолчал, раскурил папиросу — Девчата везде, где только жить можно. Теперь и в космосе появились.

— Не женились?

— Решаю: может, стоит здесь осесть годика на три, капитал сколотить? Вот только что лучше: девчушка или вдова? — Старшина засмеялся, скривил губы ефрейтор.

Петрухин подумал о Наде вот бы здорово привезти ее сюда, сразу с собой, здесь и свадьбу справить, вон под тем вулканом. Надо написать письмо, сегодня же вечером, и обо всем рассказать, чтобы зябко, жутко ей стало в тишайшем городе Калуге.

Машина скатилась с холма, понеслась навстречу морю, у самой воды круто повернула и, словно потеряв весомость, зашуршала по твердому, укатанному прибоем песку.

— Наш асфальт! — крикнул старшина.

Справа шипел пеной прибой, и брызги стучали в брезент машины, слева вздымался желтый глинистый обрыв; над ним громоздилась сопка — белая от цветущих лиан гортензии. Впереди на желтом обрыве проступил стеклянно-голубой призрачный шлейф. С каждой минутой он плотнел, овеществлялся, вытягивался ввысь. «Водопад!» — едва не воскликнул Петрухин, вдруг поняв, что это такое А водопад уже гремел, сверкал, рушил в камни длинные, напряженные потоки, и воздух вокруг него был насыщен водяной пылью.

Ефрейтор остановил машину, показывая водопад, потом подвел ее еще ближе — так, что страшно было глянуть вверх. Когда отпотело ветровое стекло и на лица, на руки насеялась влага, он развернул машину, новел ее по крутому подъему в тесный распадок. Курильский «асфальт» кончился.

Машина лезла в небо, задыхалась, всхлипывала. Хотелось уцепиться за скобу, закрыть глаза: сразу от колес проваливалось ущелье, в сумерках на дне играл камнями мощный ручей.

Выползли на зеленый горб сопки, небо качнулось вверх, земля обозначилась в стеклах, и шофер выключил зажигание: перегрелся мотор. Выпрыгнули, размяли ноги отошли подальше от горячей машины, огляделись.

— Ай-а-ай!.. — вздохнул Петрухин.

За гладкими, одетыми в курильский бамбук, будто в зеленую шкуру, сопками, кажется, совсем рядом, дыбился в облака рыжий бок вулкана. Застывшими дымками чадили фумаролы, остро чувствовался запах серы. Внизу мерцало море, на нем лежали, плавали призрачные голубые конусы других, соседних вулканов. Взлеты, падения, неясные дымы, перепады красок и теней, и над всем — невообразимо распахнувшееся, вселенское небо. Это был край земли здесь она трудно встречалась с океаном.

Петрухин вздрогнул, когда рядом остро крикнул ефрейтор:

— Кони!

— Что такое?..

— Вон под той сопкой, в бамбучнике, — кони.

— Дикие, — сказал Манасюк. — Здесь их много. Иногда мы охотимся. Мясо хорошее. Хотите, спугнем, погоняем?

Сели в машину, поехали по зеленым покатым холмам, приминая жесткий, посверкивающий листьями бамбук, к подножию вулкана, где пасся табун диких коней.

Вспугнули табун. Рыжая кобылица подняла голову (Петрухину показалось, что он увидел ее черные, тревожно вспыхнувшие глаза), длинно, нервно заржала, раздув ноздри, и понеслась к лесу.

Табун тек по травам, по тропическому бамбучнику; он был вытянут, каждая лошадь стала продолговатой, стелющейся. А впереди летела кобылица. Рыжая грива приподнялась, хвост, казалось, затвердел, ноги в белых чулках подбирались и выбрасывались легко, как у гончей собаки. И все вместе было похоже на скачку без жокеев, а еще вернее на древние наскальные росписи пещерных людей.

Кони умчались за отлогий бок вулкана, и в той стороне, как пыль, курилась серная дымка из фумарол. А Петрухин смотрел, ждал, словно неожиданно оборвалась пленка кино, — вот сейчас застрекочет аппарат и по зеленому экрану трав снова промчится табун диких коней.

На заставу возвращались в сумерках; молчали, утомившись за длинный, тряский день. Петрухин спрашивал себя: писать Наде или нет? Ведь почти наверняка он не пошлет ей письмо. Надю он видел всего один раз на Тверском бульваре, когда бродил по Москве, ожидая назначения. Узнал, что она из Калуги, учится в педагогическом, приехала погостить к тете. Поболтали о последних кинофильмах, познакомились, и только он решился пригласить Надю в шашлычную «Эльбрус» к ней подошла грузная женщина с белым зонтом, в белых перчатках. Надя смутилась, тетя взяла ее под руку, а на Петрухина посмотрела так, будто он наговорил девочке «ужасных глупостей». И они ушли к Никитским воротам.

Петрухин не спросил у Нади адреса. Не успел. Можно было на институт написать —

там найдут. И написал в самолете, и в каждом аэропорту собирался отправить, даже к почтовым ящикам подходил. Но, как шутят солдаты, пороху не хватило. А сейчас вот, после тяжкого дня, когда от усталости пароходной трубой гудит голова, Петрухин опять вспомнил о Наде. Почему о ней?.. У него есть знакомые девушки, он обещал писать им, одной даже в любви объяснился, правда на вечеринке, после стакана вина. Непонятно все. Тем более, что Надя видится ему смутно — как возникшая в воображении.

Петрухин обошел заставу, проверил патрульных, поужинал, сыграл партию в шахматы с Манасюком. Долго смотрел, как солдат кормил сторожевых собак. Искупался в море, выпил кофе прямо из термоса на берегу. Только потом пошел к себе.

На столе лежал дневник. Каждый вечер он что-нибудь записывал в него — это была его давняя, еще школьная привычка. Он сел, взял перо, на чистом листе обозначил число и месяц. Начал писать.

«Дорогая Надя!

Остров, на котором я теперь служу, очень необыкновенный. Все здесь не такое, как у вас, на Большой земле. Если трава — так метровая, если дерево — так в два материковских роста. Честное слово! Даже картошка на огородах вровень с заборами. И совсем как в тропиках — бамбук на сопках, дикий виноград, ядовитые лианы.

Сегодня мы со старшиной Манасюком ездили смотреть границу. Если просто — берег острова. У меня глаза устали: море, скалы, страшные осыпи, водопад с каменным грохотом. Потом к вулкану подъехали.

Но самое удивительное — кони. Честное слово, дикие кони! Они табуном паслись на поляне возле вулкана, и мы подъехали к ним вплотную, из-за рощицы дубняка. Манасюк показал рыжую кобылицу с пятном на лбу и белыми чулками на ногах. Это хозяйка табуна. Есть у нее имя: старшина назвал Сказкой. Он был когда-то на конных соревнованиях, и такая же, очень похожая на эту, кобыла взяла первый приз. Сказку знают все солдаты и все рыбаки в поселке. В нее не стреляют. А других бьют. Говорят, мясо вполне хорошее.

Я вырос в городе, не пришлось мне видеть коней на воле, и, конечно, я совсем не думал, что они могут быть так красивы. Честное слово, Надя, дух захватило.

Старшина Манасюк сказал о Сказке: «Такие красивые бывают еще женщины». Может, вас это обидит, Надя? Он пошутил, но мне показалось — точно подметил. И еще я решил для себя: красота в чем-то одинакова, природа у нее одна.

Вот у меня и все. Больше из себя не смогу ничего выжать. Устал, башка забита впечатлениями — сплошной бред.

Желаю Вам всего хорошего!

Лейтенант Петрухин».

Он перечитал письмо, в конце строчки «дух захватило», поставил восклицательный знак, разделся и камнем упал на кровать.

Прошел месяц. Петрухин втянулся в службу, привык к бурному климату острова: легче дышал туманом, не раскисал от влажного зноя, научился спать под гром прибоя. Дважды пережил землетрясения: земля передернулась, как шкура зверя, вздрогнули стены, жутко задвигались столы, кровати, стулья. А раз вулкан, дохнув пламенем, выхаркнул облако пепла; весь день пепел мерцал в воздухе, припорашивал море и землю.

Задержали одного «капустника»: заблудился в шторм, прибило к острову. Петрухину пришлось говорить с синдо — шкипером — и его молоденьким сыном. Мокрые, перепуганные, они кланялись, улыбались и без конца повторяли: «Кон ничива, рюски!.. Кон ничива!» [1] Разговорник помогал плохо, больше руками, «мычанием» объяснялись, поняли

1 Здравствуйте, русские! (япон.)

друг друга. Петрухин впервые видел людей с японских островов. Присматривался к ним, думал о прошлой войне, ощупывал деревянное суденышко, удивлялся, как можно выходить в море на такой посудине-«душегубке»; все было ненадежно: снасти, робы, циновки, намокшие картонные божки. Жалел, что не может расспросить, от чего у них эта смелость: от бедности или прирожденного бесстрашия? Хотелось знать, как они живут у себя на Хоккайдо и зачем им так много нужно ламинарии — морской капусты. Здесь она валяется по всем берегам. Едят они и гребешок, на острове остались после них курганы пустых раковин.

— Я их знаю, этих «капустников», — сказал Манасюк, — жрут все, рискуют, а капиталец сколачивают.

Петрухин приказал, чтобы к обеду ему приготовили салат из ламинарии и сварили моллюска. Старшина попробовал отговорить: «Бросьте, не русская еда», — но все же влез в лодку, отъехал от берега и сам надергал капусты; выловил три большие, обросшие мхом раковины. Обедать Петрухин пошел позже всех. Когда ему подали салат, появился старшина, присел на скамейку: он хотел лично видеть «дегустацию» морских блюд. Петрухин поддел вилкой длинные, похожие на лапшу рубленые листья ламинарии, принялся жевать, поспешно проглотил. Салат даже отдаленно не напоминал огородную капусту и, пожалуй, вообще не имел никакого вкуса — просто сильно разил йодом. Петрухин упрямо съел салат.

— Полезно, — кивнул сам себе.

Со страхом пододвинул второе блюдо: моллюск был отварен, поджарен и приправлен зеленым луком. От него пахло сладко и душновато. Подумав: «Едят же японцы, не умирают»,— воткнул вилку в белое, мягкое, прямо-таки цыплячье мясо. И удивился: по вкусу оно смахивало на крабовые консервы, может, только чуть погрубее. Подобрал все, что было в тарелке, глянул на старшину: тот увеличенными глазами изучал «начальство», часто глотая слюну (его, видимо, слегка поташнивало), — встал, подтянул ремень.

— Вот что, — сказал вскочившему Манасюку, — предлагаю ввести в рацион солдат эти два блюда. Живущим у моря надо уметь кормиться от него. Это не помешает.

Старшина прижал руку к груди, наклонил голову, извиняясь и выказывая свою полную беспомощность:

— Мы же российские...

— Значит, одолеем. А мне подавайте каждый день, — прервал его Петрухин.

Он пришел в свою комнату, прилег отдохнуть, взял со стола «Строевой устав»: после училища не заглядывал в него, надо было повторить кое-какие параграфы. Но читать почти не смог, все прислушивался к своему животу — как он переваривает курильскую пищу? — и понемногу задремал. Проснулся от зуммера телефона, вскочил, по курсантской привычке сильно крикнул в трубку:

— Лейтенант Петрухин слушает!

Говорил председатель колхоза. Приключилась беда, племенной колхозный жеребец Форс ушел с табуном диких коней. Вторые сутки бродит. Пробовали отбить — не смогли: всадников мало, ружей и того меньше, а надо пострелять, попугать.

— Все Сказка эта, мать ее... — сипло выругался председатель. — Водит нашего дурака за хвостом, людей на километр не подпускает Давно говорю Манасюку: спиши на нее один патрон, беды меньше будет. Жалко, вишь ты, красивая!..

Председатель просил помочь заарканить жеребца, заодно подстрелить пару коняг для колхозной столовой.

Петрухин позвал старшину, вместе они «обговорили» просьбу председателя, решили выделить четырех солдат — из тех, кто больше приучен к верховой езде, и самим поехать на машине посмотреть необычную охоту, а если понадобится, спасти от пули Сказку.

— Мы же ее поймаем, — сказал, сведя на столе ладони, Манасюк. — Вот зимой будет большой снег — и поймаем. Приручим. Такого коня убить!.. Кто ж это может грех на душу взять?

Петрухин молчал, хмурился: больше всего он боялся нежных слов, чувствительности;

если все-таки голос иногда выдавал его, он панически краснел, торопился уйти, чтобы один на один расправиться с собой, обрести нужную внутреннюю форму. Сейчас Петрухин медленно закурил, резче сдвинул к переносице брови.

— Все, старшина.

Через час они ехали по бамбуковым холмам в сторону вулкана. Дорога то едва виднелась в зарослях, то огибала крутой бок холма, то зависала над осыпями и обвалами. Шофер-ефрейтор небрежно крутил баранку, положив левую руку на дверцу, почти не смотрел на дорогу; Петрухину хотелось сказать: «Нельзя ли повнимательней?» Но когда подъехали к болоту, перекрытому старой, полуистлевшей гатью, и шофер, рывком бросив машину, чуть ли не по воздуху перемахнул на твердую глину, Петрухин подумал: «Да это же ас!» Он следил за его руками, движениями, удивлялся, почему в первую свою поездку не заметил редкого умения ефрейтора, и, решив, что тот просто «скромничал», стал размышлять о шоферах вообще, их работе. Конечно, только на такой взбудораженной земле можно научиться «творить» за рулем. Во всех других местах — слабая практика. Вернется ефрейтор в свою брянскую деревню, покажет собратьям по баранке, что такое настоящая работа.

Табун увидели издали, он пасся там же, на отлого-раздольном подножии вулкана. Остановились в ельнике, километра за полтора; пошли пешком осторожно, прячась за кусты, пригибаясь. Выбрались к опушке леса — дальше был луг, в середине которого паслись кони. Сели в траву на кочки.

— Вон она!.. — прошипел Манасюк, схватив за рукав Петрухина. — С Форсом играет.

Чуть поодаль от плотного табуна двигались, взмахивали гривами, тихо всхрапывали Сказка и жеребец. Петрухин поднес к глазам бинокль — и сразу прянула на него зеленая стена луга, заколыхались под ветром травы, блеснули крупы коней, а вот Сказка и Форс; они не вмещались в четких кругах окуляров, и Петрухин видел отдельно головы с мечущимися гривами, танцующие ноги, спины и хвосты. Промелькнули черные шары глаз Сказки, раздутые, вздернутые ноздри, белый оскал зубов, рыжий пламень хвоста, потом забились высокие ноги жеребца, черным дымом взлетела грива, мокро сверкнул крутой, гладкий круп... Петрухин опустил бинокль — по опавшему, распахнувшемуся вширь раздолью неслись две вытянутые в движении, стушеванные воздухом лошади: Сказка и Форс. Табун тревожно вскидывал головы, следил за ними, перекликался коротким, чутким ржанием.

Старшина глянул на Петрухина, заметил — у него хмурились глаза, вздрагивали руки.

— Минут через пять — погоня. Все в порядке, товарищ лейтенант. В каждой группе — по солдату. Винтовки только у них.

Петрухин поднял голову, стал смотреть на бурый конус вулкана. Он был четко, как на картине ярмарочного художника, врисован в тонкий ситец неба. И птицы вились над ним, и белое облачко в стороне, и, если присмотреться, он так же, едва заметно, призрачно чадил газами. Картина была примитивная, но реальная, и такую Петрухин купил бы себе на память: вокруг нее страхом, трагичностью был напряжен воздух.

Где-то на окраине леса щелчком бича ударил выстрел. Табун сгрудился, качнулся в одну, другую сторону. Сказка вскинула голову, замерла с обострившимися ушами, бросилась к табуну. Форс, ничего не поняв, поскакал за ней, играя, кладя голову на ее круп. И сразу с четырех сторон луг охватили всадники.

Они ринулись на табун с криками, пальбой, возникла неразбериха: ржание, храп коней, мелькание человеческих фигур; кто-то упал, взмахнув руками, длинно протянулась петля аркана, грохнул винтовочный выстрел. Затем все это отпрянуло к лесу, пыля, клокоча и затихая, и последнее, что увидел Петрухин, — вскинутая, оскаленная голова Форса на аркане и вдалеке, у самого низкого, плотного леса, — вытянутая, летящая Сказка. За ней острым клином утекал табун. Еще дважды громыхнули винтовки.

Поле опустело, над ним замирал серый дым перетертой копытами земли, и в этом дыму одинокий, выбитый из седла всадник, вяло покрикивая, ловил своего перепуганного,

одичалого коня.

Петрухин и старшина пошли к машине. Ефрейтор дремал, обхватив руками баранку, сразу включил мотор, развернул машину. Но ни о чем не спросил, молчал старшина, не хотелось говорить и Петрухину: вроде все было хорошо, но какая-то легкая досада саднила в груди. Поехали по холмам, сквозь кусты и лианы, над осыпями и обвалами. Досада не исчезала, понемногу накапливалась, тяжелела, а когда Петрухин вошел в свою комнату и закрыл за собой дверь, ему показалось, что во рту у него горькая слюна.

Он бездумно лежал на кровати, пока не пригласили ужинать. В столовой ждал Манасюк. На больших тарелках повар принес им по куску горячего мяса, сострил несмело:

— Отбивная из и-го-го!

Петрухин глянул на старшину, свел брови.

— Двух убили, — сказал Манасюк. — Как требовалось.

Пододвинув тарелку, Петрухин тронул ножом отбивную: она еще шипела, сочилась бурой, непрожаренной кровью. Отвернулся, едва не крикнул повару: «Дайте что-нибудь другое, не ем вечером мяса!» — но старшина энергично жевал крепкими зубами, посматривал на своего лейтенанта. Петрухин взял вилку.

Ночью он написал длинное письмо Наде. Рассказал о японцах-«капустниках», о салате из ламинарии, моллюске гребешке, о черном пепле вулкана, землетрясениях и особенно долго, старательно — о Сказке, диких конях. Письмо он закончил так:

> «Дорогая Надя! Я никогда не думал, что можно убить коня. С детства я видел коней только в кино: они работали, скакали в тачанках и если погибали, то как бойцы. Здесь их стреляют, потому что они дикие. Мне пришлось видеть одну такую охоту, даже немного участвовать в ней.
>
> Могу признаться: трудно я пережил это. А ведь я военный, отец у меня был партизаном, погиб в войну, мне стыдно за свою излишнюю чувствительность. Но, милая Надя, если у вас в Калуге есть кони, найдите хоть одного, потрогайте его жесткую гриву, загляните в диковатые грустные глаза этого вечного работяги, и вы поймете меня. Всего вам доброго!
>
> ***Лейтенант Петрухин».***

Зимой здесь всегда сыплется снег — в любую погоду, ночью, дном. Он из самого воздуха: влага поднимается от моря, холодеет вверху, сворачивается и сыплется на землю снегом. Здесь всегда чисто, бело, вулкан первозданно, лунно вздымает в небо синие грани.

Петрухин прыгнул с крыльца, по твердой тропе пробежал до казармы, сделал несколько приседаний; поддев ладонью влажный снежок, докрасна растер руки и грудь. Запрыгал, фыркая и задыхаясь. Вышел Манасюк, усмехнулся, сморщился от яркой белизны, и Петрухин вспомнил ночные выстрелы.

— Старшина! — крикнул, перестав прыгать. — Готовь лыжи. Сказку пойдем ловить. Обещал!

После завтрака они натянули спортивные брюки и свитеры, стали на лыжи и пошли в конец села, к дому колхозника Козолькова. Хозяин расхаживал по двору, поднимал, ладил поваленные жерди забора. От стога сена осталось темное пятно на снегу да разметанные клочья вокруг двора.

— Вот,— сказал Козольков,— беда, начальники! Без кормов остался. — Помолчав, хлопнул рукавицей о рукавицу, полез за табаком. — Хуже нет на краю проживать. Как глыбкий снег, они меня обирают.

Козольков — в полушубке, толсто подшитых валенках, собачьей шапке. Он, видно, не из крепких хозяев, не из горячих работников. И сенцо-то свое небось с трудом по осени наскреб. Жаль стало Петрухину лохматого мужичка: «Вот уж точно — где тонко, там и рвется!» Решил с председателем поговорить — пусть помощь окажет.

— Пальнул жиганом в черноту, — рассказывал Козольков, — Утром выбег, смотрю —

кровища. В кою-то конягу попал...

На истоптанном копытами снегу каплями, лепешками заледенела кровь: мутная, припорошенная снегом. Разбросанно, пропадая, она тянулась через пустырь и дальше — по санному следу за поселок.

Вышли на дорогу, не торопясь заскользили к лесу. В мороси редкого снега плавали ближние холмы, деревья; море немо качало стылую шугу, над ним косо, скудно промелькивали чайки. Все было легким, почти неощутимым. Легко дышалось, легко струились лыжи, и, казалось, снежная земля чуть колышется на густой, мирной воде.

Бело-голубым столбом льда встал впереди водопад. По льду стекали струи, от них отлетал пар, и гранитные глыбы на берегу, огромный рыжий обрыв, деревья вверху обросли белым, тяжким мехом сырого инея. Водопад приутих, будто задремал в холоде, чуть ворочаясь и бормоча.

Здесь кони пили воду, был сильно вытоптан и забрызган кровью снег; в копытной ямке — тусклая лужица крови. Старшина тронул ее палкой. Кровь еще не застыла.

— Добьем конягу, а?.. — Старшина кивнул на распадок, куда, исчезая, втягивался широкий след табуна.

Сильно оттолкнувшись палками, Петрухин побежал к распадку, и с ходу, без передышки, они взяли крутой, рыхлый подъем. Остановились на голой горе. Тут почти не было снега; кони до черной земли выбили снег, съели траву и коренья. Зато дальше начинались заносы, сугробы лежали буграми, застругами. Частые ветры крутили, пересыпали снежный песок в этой пустой котловине.

След табуна уходил наискось, к лесу на отлогом склоне вулкана. Где-то там, в его обширных бурых трещинах, обитали зимой кони: возле дымящихся фумарол, горячих родников хранились клочки талой земли.

Отдышались, покурили. Пошли гуськом: впереди Петрухин — он был легче, скользил почти поверху, без «нырков»; позади Манасюк сопя утрамбовывал лыжню. Шли сбоку трудной дороги табуна, и было видно: кони проваливались по брюхо, передвигались прыжками, часто отдыхали — заледенели подтаявшие под животами ямы.

Уже четко различались голые ветви лиственниц впереди, когда Петрухин увидел на опушке леса табун. Кони стояли, плотно сбившись, над ними висел сизый дымок, спины мокро заиндевели.

В сееве снега, в глохлой тишине табун близко подпустил к себе. Заметив вдруг людей, всполошился, всхрапывая, ломая ветви и кусты, разом отвалил в лес. Посреди вытоптанной опушки остался рыжий конь; шея у него была вытянута, голова лежала на снегу. Прибавили шагу, пошли рядом и, прежде чем успели о чем-либо подумать, поняли: это Сказка!

Осторожно подступили с двух сторон.

Чутьем, слухом Сказка уловила тревогу, качнула головой, повела черным, зло вспыхнувшим глазом. У нее чаще заходили бока, нервно запрядали уши. Из горячечных ноздрей ударил в снег длинный выдох. На большее ее не хватило. Она замерла, и только пугливой судорогой передергивалась на боках кожа.

— Жеребая,— сказал Манасюк, коснувшись палкой живота, — жеребенок бьется.

Петрухин смотрел на жилисто вытянутую шею Сказки, полузакрытый глаз, на смятую огненно-рыжую гриву, мокрый, дымящийся паром круп, видел слепяще-яркое пятно крови возле передних ног и растерянно молчал. Ему не верилось — нет, нет... Вот сейчас Сказка вскочит, ударит копытами в снег, скроется за лиственницами. И незачем вовсе ее ловить, пусть живет на свободе, водит табун, пасется в бамбуковых долинах — на нее надо смотреть издали, приезжать и смотреть. Потом он вдруг понял слова старшины: «жеребенок бьется», подумал внезапно: «Умирает»,— и быстро сказал, слепо протянув руку:

— Дай винтовку!..

Ствол приставил к уху — вздрогнувшему, отпрянувшему. Глянув на вершины лиственниц, нажал спусковой крючок.

Выстрела он не услышал: просто охнул лес, осыпав с ветвей снег, далеко в горах

грустно отозвалось эхо, и над лунно-чистым конусом вулкана косо завалился желтый серный дым.

— Поймали... — откуда-то издалека прозвучал голос старшины.

Вечером, Петрухин ничего не писал Наде.

ПИСЬМА ТОЛИ ВЕРНИКОВА

От Верникова редко приходили письма. Он был просто невежлив и, если это применимо к нему, невоспитан; на каждые мои два письма отвечал одним, коротким до смешного, и отвечал, когда ему вздумается, по настроению. Не раз я хотел бросить эту «одностороннюю» переписку и никак не мог — что-то подталкивало меня: надо писать, шевелить, надо заставить Толю отвечать. Ведь он же с «божьей искрой» мальчишка, это видно по его стихам, по тому, как живет, о чем думает. Надо ему помочь — у него трудная судьба, он мучается, бьется с бумагой один на один. И я писал: «Остров Кунашир, пос. Алехино, Верникову Анатолию». Просил прислать стихи.

В руках у меня его третье письмо. Уже на ощупь определяю: большое, по крайней мере для Толи. Разрываю конверт, и на стол падает сухой лист магнолии. На нем что-то нацарапано.

Присматриваюсь: «10 августа 195... года». Это время, когда я приехал на Курилы и познакомился с Толей. Нацарапано было на зеленом листе, лист высох, пожелтел, и буквы обозначились бело, четко. Развернул письмо — оно и в самом деле «протяженное».

«Здравствуйте, уважаемый...

На ваш стол сейчас упал лист магнолии. Я сорвал его тогда с того дерева, около которого мы сидели, говорили и сочинили легенду про магнолию, японку Ханако и айнского вождя Насендуса. Здорово, правда? Я никак не могу забыть это, а к легенде добавляю все новые «страницы». Я даже придумал — Ханако вернулась к айнскому вождю и спасла его в последнюю минуту. Так хочется, чтобы был благополучный конец. Но вы, знаю, не любите счастливых концов, не хотите все досказывать, так вам кажется «малохудожественно». А я ведь еще не писатель... Написал стихотворение «Магнолия». Видите, опять — магнолия. Посылать боюсь — слабо еще, поработать надо.

Живу по-старому. Выдаю мальчишкам книги, ругаю их за истерзанные переплеты. И читаю. Читаю повести и рассказы с приключениями и о других планетах. Только настоящие, без детектива. Еще нравится о спутниках и ракетах — это, наверное, всем нравится. У меня даже в «Магнолии»:

В чащобе недвижно и немо,
Но видеть умеет мой взгляд:
Бутоны, как выстрелы в небо,
С курильских магнолий летят.

И вот, если интересно... В нашем поселке все волжане, из одной деревни. И, конечно, знают о моем происхождении. Кто-то из теток опять «укорил» мать. Вы понимаете, как это умеют делать тетки. Пришла она, плачет, просит у меня прощения. Страшно. Я не выношу этих минут — кажется, я старею, глохну.

Она раз и навсегда решила, что виновата передо мной, и никакие мои слова не облегчают ее. Помните мое стихотворение? Я прочитал его матери. Она не поняла, сказала. «Вот видишь, тебе тяжко. А я хочу, чтобы они хоть тебя не трогали...» Как мне хочется покоя для матери! Может, уехать куда-нибудь?»

Дальше Толя писал о сельских новостях. Жена директора школы уехала в Моздок и не хочет вернуться на Курилы, говорит, что вулканы красивы, но она не любит, когда они дымят и трясут землю, ей рано под вулканический пепел. Пекариха выбила окна у поварихи:

не поделили одного ухажера. Поросенок соседки угодил в горячий источник, в «каменную ванну», и, когда нашли его, — был готов: сварился, даже кожица потрескалась. С юга, от Японии, прошел тайфун, зацепил краешком Кунашир и «наломал дров»: на мысах повыворачивал деревья, в Алехине сорвал несколько крыш, унес волной все, что «плохо лежало». Кое-кто засобирался на материк, но выглянуло солнце, улеглось море — а оно здесь в тихие дни прямо парное, — и чемоданы снова были разобраны. Кончал Толя письмо шуткой: «Нет мира под магнолиями».

В конверте было стихотворение — первое, присланное Толей. Странно, оно едва вмещалось на двух тетрадных страницах, а ведь Толя писал очень короткие стихи. Смутная тревога не обманула: стихотворение было длинное и плохое. В нем воспевались далекие острова, штормы и туманы.

Что случилось? Я помню стихи Толи — такие стихи пишут далеко не все начинающие. Или он думает, что для себя можно сочинять одно, а для печати — другое? Я решил сейчас же написать Толе и попросить прислать те стихотворения, которые он читал мне на Кунашире, и вообще прислать побольше и «не для печати».

Над чистым листом бумаги я помедлил. Взгляд упал на желтый лист магнолии: «10 августа 195... года». Подумалось: «А не лучше ли вспомнить 10 августа, знакомство с Толей, поход за магнолией? Может быть, где-то что-то я упустил, недопонял и теперь мне трудно говорить с ним?»

Толя Верников идет, сбивая широкими кирзовыми сапогами росу, взмахивая своей удобной короткой палкой. Он худ, узкоплеч и по-мальчишески нескладен. Но идет легко, натренированно. Палка в его руке — как щуп слепого: то помогает перепрыгнуть через валежину, то ныряет в заросшие травой ямы, а когда переходим вброд ручьи, чуть трогает скользкие замшелые камни.

Разве я мог подумать, что палка так нужна здесь! Я отстаю, Толя оборачивается, виновато смотрит на меня разгоряченными глазами, сбавляет шаг. Но вскоре забывает обо мне, радуясь напряжению, торопится в гору, размашисто, как аршином, мерит палкой склон.

Тропа мягкая, зеленая — по ней не часто ходили, и тянулась она, круто забирая вверх, по узкому сумеречному распадку, на дне которого гремел ручей. Вспененные перекаты, проглядывая сквозь чащи лопуха, дикой яблони и необычно рослой и сочной гречихи сахалинской, полыхали белыми клубящимися кострами. Склоны, начинаясь у самого ручья, вздымались стенами и выносили деревья прямо в небо. Белые облака плыли по воздушной реке меж черными древними пихтами.

Сыро, темно. Млели деревья, млели лианы, ядовитой зеленью опутав замшелые стволы; поникли сваренные духотой цветы — желтые, синие, розовые. И только строгие пики кипрея, протыкая буйное разнотравье, живо светились сиреневыми свечами.

Мы идем, рассчитывая шаг, сдерживая дыхание. Толя Верников хочет показать свое «таежное» происхождение. Я стараюсь не отставать. Мы идем смотреть магнолию, принцессу тайги; она где-то там, наверху, в чаще — в полусвете, сырости и тишине; она цветет...

Тропа круче взметывается, рыжие метелки шеломайника гибко хлещут в лицо, плечи, пускают по воздуху сухой цепкий пух, и он медленно, рыжим облаком оседает в темень распадка. Колышется мох, под ним угадывается мягкая, накрытая хвоей земля. Мокрые листья дерена, примятые сапогами Толи, быстро, трепетно распрямляются мне навстречу на коротких жиденьких стебельках. Толя теперь дышит часто, с легкой хрипотцой, но не сдается, — взяв палку за нижний конец, точно клюшкой захватывает ею деревья, подтягивается вверх. Я ловлю руками кусты, отталкиваюсь от корявых стволов и чувствую, как пылают ладони: обожгла ядовитая лиана.

Несколько отчаянных рывков — и мы на четвереньках взбираемся к вершине горы. Я сдергиваю кепку, выворачиваю изнанкой, вытираю со лба и шеи соленую воду. Толя садится на мягкий трухлявый пень, оттягивает щепотью прилипшую к груди рубашку, подергивает

ее. Между стволами елей и тополей нежно, глубоко голубеет морская тишь; за мысом, похожим на медвежью голову с зелеными космами леса, одиноко стоит древний замшелый камень — кекур, а выше, у самых шеломов деревьев, блекло вздымаются к небу вулканы Хоккайдо.

Под горой, далеко внизу, там, где начинается тропа, видны расплющенные на желтом песке деревянные крыши поселка; длинная эстакада рыбозавода, беленький катерок у пристани, черные жуки-плашкоуты; поодаль, на блескучем круге залива, — многоточия поплавков ставного невода. Розовая галька у воды похожа на рассыпанную кетовую икру.

В поселок я пришел час назад. Попавшийся мне навстречу старик рыбак с крупной живой камбалой на палке сказал:

«Если вы корреспондент, то идите прямо в школьную библиотеку, там наш Толька Верников. Он тоже писатель. Он всегда вашего брата встречает».

Толя сидел за деревянной стойкой, затертой руками до темного блеска, и выдавал мальчишкам книги. Он поднялся, когда я вошел, улыбнулся, привычно проговорил: «Вы ко мне? Я сейчас... — и принялся выпроваживать мальчишек, неохотно отступавших к двери; последнему, больше всех пялившему на меня глаза, дал слегка по затылку. — Вы из какой газеты?» Пришлось ответить: «Не совсем из газеты, я писатель». Толя присмотрелся ко мне, явно отыскивая в моем лице и внешности что-то отличительное, писательское. «А как ваша фамилия?» Я назвал. Толя неопределенно хмыкнул, но быстро протянул руку: «Будем знакомы... — и заговорил сразу и просто: — Магнолию будете смотреть? Здорово цвела в этом году, только вот осыпается уже. Если хотите, надо прямо сейчас идти, завтра можем уже опоздать. Все смотрят, а вы, наверно, за этим и приехали...»

Мы вышли на улицу.

У маленького беленого домика под красной железной крышей Толя перевалил через забор мой чемодан, окликнул мать. В огороде, полном разной овощной зелени и желтых шанок подсолнухов, разогнулась молодая женщина с темным, обожженным солнцем лицом. Она приложила ко лбу ладонь, поздоровалась со мной. Толя сказал ей, что я буду ночевать у них, выхватил из забора палку и зашагал в конец улицы, — там погромыхивал горный ручей.

Пока шли к сопке, Толя рассказал о себе. Приехал он с матерью на Курилы по вербовке, отца нет. Кончил девять классов, здесь учится в вечерней школе, работает и... пишет стихи. Конечно, слабые еще. Но одно уже напечатала районная газета...

Он сидит на расплющившемся под ним трухлявом пне, широко расставив острые колени, дергает взмокшую от пота рубашку. Щуря из-под бровей большие карие глаза, смотрит куда-то мимо меня. Его желтоватый некрепкий чуб, крупный нос, тонкие губы были обычными, как у многих, и только выпуклый, надвинутый на глаза лоб с легкой нахмуренностью делал лицо Толи приметным, «памятным». О человеке с таким лицом думается: «Кто он?» Или еще говорят: «Лицо с мыслью». Мне же оно кажется знакомым, привычным, часто виденным. И это, вероятно, потому, что Толя мне сразу понравился, как-то просто расположил к себе, стал товарищем, с которым можно говорить о чем захочешь.

— Толя, прочти свои стихи,— попросил я.

Он перестал дергать рубашку, глянул на меня — серьезно ли? — вынул из кармана плотно сложенную потертую газету, подал мне. Под фамилией «Ан. Верников» и заголовком «Кекур» было напечатано короткое стихотворение:

Древний, замшелый кекур
В черные бури — хмур,
Первым, как старый солдат,
Он принимает накат.
Я видел: за ним всегда
Тихая дремлет вода...

— Неплохо, Толя. По-моему, совсем неплохо. Может, еще прочтешь что-нибудь?

У Толи зарозовели щеки, он посмотрел на меня, видно снова проверяя: серьезно ли?

— Да вот не знаю... У меня одно про... Нет, лучше послушайте:

Меня называют «нагулянный»
Люди соседи мои.
Легче стоять под пулями
Или ходить в бои...
Но как им, смешным, понять
Эту беду мою:
Меня нагуляла мать,
А мать я свою люблю.

Это были уже «недетские» стихи. И они даже напугали меня: откуда у мальчишки столько боли, серьезности? Видя, как горячечно пылают Толины щеки и как улыбка, нервная и виноватая, не сходит с его застывших губ, я поднялся, весело сказал:

— Ну, мы о стихах еще поговорим, а сейчас пойдем к «принцессе тайги»

Толя быстро встал, схватил палку и, мне показалось, с облегчением зашагал в плотную, сумеречную чащу. Он раздвигал кусты, ощупывал палкой мох, нырял под жгуты лиан. Сумерки густели, синели, как вода под вечер в теплом и тихом омуте. А если солнце пробивало разреженную листву, желтые прожекторы света зажигали дно чащи — зыбкий, взбитый, зеленой пеной мох. Первую магнолию мы нашли в тени огромной старой пихты. Деревце было юное, с большими, округлыми, словно уши, настороженными листьями, наивно-нескладное. С черных ветвей пихты свешивались длинные пряди лишайника, обволакивали деревце.

Толя, едва глянув, проговорил:

— Года три еще не будет цвести.

Он пошел дальше, а я отвел рукой лишайник, потрогал твердые, хрупкие листья, матово-серый, с мягкой пробковой корой ствол, набухшие стручки почек, из которых, как у домашнего фикуса, пружинисто разворачивались свежезеленые листья. Мох под деревом был усыпан красной скорлупой лопнувших почек. Я присмотрелся: низ ствола магнолии опутывала тонкая лиана. Вспомнились ели и пихты, задушенные цветущими гортензиями, и я освободил ствол от нежных колец лианы: она вся была в белых корешках-присосках.

Толю я догнал в тихой, сырой ложбине; он стоял на поваленном дереве и смотрел вверх — на воздушную, напоминающую розоватое облако магнолию. Она легко, будто тонкие руки, воздевала к небу ветви — никогда ветви так не напоминали мне человеческие руки,— ловила чуткими пальцами листьев солнечное тепло. Но цветов не было. Толя, точно не веря этому, обошел магнолию вокруг, потрогал ее ствол, оставив на зеленой пыльце коры следы пальцев, буркнул сам себе:

— Пожалуй, отцвела...

Скоро мы нашли еще одну, потом сразу две. И ни единого цветка. Толю, кажется, смутила наша неудачливость, он нахмурился, побледнел и стал прямо-таки бешено носиться по сопке. Мы перелезали через поваленные деревья и коряги, пробирались сквозь лианы гортензии и актинидии, сидя съезжали по мшистым скользким скатам. В багульнике, под кустами, лежала роса, мы промокли по пояс, облипли зеленью, паутиной.

И вот уловили запах, внезапный в лесу, ни на что не похожий — сочный, сладковатый, стойкий. Казалось, где-то рядом прячется за деревьями женщина в сильно надушенном платье.

Толя повернулся лицом к ветру, зашагал в черный ельник, к самому обрыву. Здесь было тихо, печально; тени растворялись в ветвях деревьев, и внизу мягко, матово светился воздух.

Магнолия росла одиноко, на маленькой поляне. Она была такой же, как и другие,

только, пожалуй, постарше, крона ее плотнее, гуще облегала ствол, и кора шелушилась, будто чуть обожженная.

Задрав головы, мы обошли вокруг дерева — и ничего не увидели. Толя вздохнул:

— Может, и эта отцвела?..

Он нагнулся, подобрал с земли белый потрескавшийся, тронутый по краям желтизной лепесток, снова поднял голову и как бы прислушался.

— Есть цветок, где-то наверху.

Сели на поваленную, обстуканную дятлами, добела промытую дождями ель, молчаливо согласившись не лезть за цветком: жаль ломать ветви и листья магнолии. Толя закурил тоненькую папироску, неумело, явно «для солидности». Табачный дым смешался с запахом магнолии, стал вязким, пряным и, должно быть от сырости, не растворялся, а тонкой сизой пленкой затягивал багульник.

— Вот послушайте, — хмурясь, проговорил Толя. — Стихи мои не очень настоящие. Наверно, я их пишу из самолюбия — чтобы лучше других быть. Это же нехорошо. Ничего не надо делать из самолюбия — лишь бы возвысить себя. Это же хитрость. Нельзя делаться поэтом, если ты не родился поэтом. А я из-за этого сижу в библиотеке. Может, мне попроситься на какую-нибудь другую, настоящую работу? Мотористом на катер или рыбаком в колхоз. Какой из меня поэт — руки так и просят чего-нибудь покрепче. Да и мать все говорит: «Толя, приобрети специальность...»

Меня не раз спрашивали мальчишки-поэты: «Стоит ли писать?» Почти всегда я отвечал: «Пишите, но учитесь какому-нибудь делу». Лично для себя я решил: поэт живет в каждом человеке, однако не каждому удается заставить его говорить стихами. Это и незачем. Стихи же Толины как-то сразу убедили меня, что в нем «заговорит» поэт, да и сам Толя, решил я, уже почувствовал это. Мне показались несерьезными его метания, — все уляжется, все пройдет, мальчишка просто чуть играет.

— У тебя хорошие стихи, — ответил я. — Конечно, трудно сказать, как ты будешь писать дальше. Но мне хочется, чтобы ты писал. А работу... Пожалуй, найди другую. Это не помешает. Только не торопись, обдумай все хорошенько.

— Подумаю,— сказал Толя.

Пели птицы. Пели ярко, пестро. Где-то яростно куковала кукушка. Тайга была полна солнца и жизни. Разве это тайга? Я видел настоящую тайгу — она молчалива и угрюма. И все-таки — тайга, но здесь она разнежилась в тепле и настолько позабыла север, что стала похожа на субтропики.

В плотном жгуче-зеленом подлеске пестрели красные и желтые листья черемухи айнской. С половины лета, опаленные солнцем, они меняют расцветку. Очень красивы — как живые вспышки. И как-то внезапно я почувствовал древность, дикую таинственность этой земли. Глянул на Толю. Он мял в пальцах папиросу, щурился в голубые, прохладные провалы между деревьями.

— Здесь жили айны, — сказал я. — Интересные люди. Их называли «мохнатые курильцы».

— Знаю, читал про это, — забыв о папиросе, живо отозвался Толя. — Их японцы с Хоккайдо прогнали, а потом и здесь грабили. Эзо [1] им кличку дали.

— Красивые люди были. С лицами древних греков, с бородами русских мужиков. Откуда они взялись, не знали сами. Родиной считали Ессо — Японские острова. Свой язык был у них, культура...

— Правда, интересные люди. Когда я прочитал, захотел про них легенду какую-нибудь сочинить. А потом раздумал — легенды не сочиняют.

— Они ушли и унесли легенды. Жаль. А мы давай все же сочиним. Просто так, не для печати. Хочешь?

— Согласен. Только начинайте вы. — Толя с сомнением полуотвернулся от меня.

Я будто не заметил этого.

---

1 Эзо — варвары (япон.).

— Давай так: про айнского вождя, магнолию и японскую девушку. Ты смелее помогай. И больше фантазии.

Минуту я молчал, придумывая сюжет, и нараспев, как сказитель, начал:

— Это было давно, очень давно. Многочисленное племя айнов после долгой борьбы с японцами покинуло Хоккайдо, последний остров Ессо, и переселилось на Курилы. Все сорок больших островов — от юга до севера — заняли айны, а на самом южном и теплом — Кунашире (Черном острове) — остался жить ниспа, вождь племени. Звали его Насендус. Он хотел видеть землю предков, быть ближе к врагу. Он готовился воевать. Его бойцы гнули луки, делали стрелы и бамбуковые наконечники густо смазывали ядом аконита. Ниспа Насендус все дни стоял на берегу, всматриваясь в синие вулканы родины, и ветер трепал его русую молодую бороду. Он был красив, горяч, в нем текла полинезийская кровь...

— На голове носил он клюв птицы... — серьезно вставил Толя, - потому что его род вел начало от орла.

Кивнув, я продолжал:

— Однажды утром, когда тихая заря качалась на глубокой зыби моря, Насендус увидел вдали, под вулканами Хоккайдо, белые шхуны. «О-у-э!» — разнесся тревожный клич ниспы. Бородатые воины, хватая луки и копья, бежали к берегу. И вот щетинистые, похожие на сороконожек лодки длинным косяком вышли на свежую зыбь. В носу первой лодки стоял Насендус. Его большие глаза пылали, прямой крупный нос жадно втягивал воздух, губы вздрагивали. Он жаждал боя. Белые шхуны...

Я остановился — мне показалось слишком длинным начало легенды. Толя молчал, растерянно глядя на меня. Я сказал:

— Давай сразу: Насендус захватил в плен японку. Она была дочерью японского полководца. Звали ее Ханако, по-русски — Цветок. А потом что-нибудь про магнолию... Говори ты. Можно так: Насендус сделал Ханако своей первой женой. Она тосковала на чужбине.

— Ладно, — согласился Толя, — только помогайте... — и начал медленно, вполголоса, настраиваясь на мой лад: — Ханако стала жить в самой хорошей землянке. Дорогие шкуры были на ее постели. Из лучшего меха сшили ей одежду. Воду для японки брали из самого холодного родника, пищу готовили из живой рыбы... У входа в землянку, с восточной стороны, где всегда стояли инау богине солнца, хозяину моря и знатному предку — обвешанные стружками священные столбы,— появилось еще инау: хозяйке дома. Белый заструганный столб языками-стружками должен был разговаривать с камуй-инау, беречь Ханако от болезней, передавать все ее желания в небеса... Но это инау не спасло японку от тоски, она хотела вернуться домой. Ей было холодно, страшно на айнской земле. Каждый день она ходила на сопку, смотрела вдаль, за широкий пролив. Она плакала, и вождь приводил ее в землянку... Прошло много лет. Тосковала, худела Ханако, только глаза ее делались все больше, будто хотели лучше видеть родные горы. Она просилась домой, а ниспа не слышал ее слов. И Ханако убежала. В черную ночь, когда на сопках страшно шумела тайга, она усыпила ниспу, столкнула лодку и поплыла к островам Ессо. Ее заметили утром — что-то черное прыгало на волнах далеко в проливе. Но шторм уже так раскачался, что не нашлось смельчака догнать японку... Скоро лодка пропала в волнах. Ниспа решил: погибла Ханако. Не страшась бога — камуя, он приказал сжечь инау хозяйке дома.

— Подожди, — остановил я.

Но Толя и сам догадался, что привел легенду к концу, забыл о магнолии.

Несколько минут мы слушали оголтелое пение птиц. Толя глядел в просветы между деревьями на легкую, как воздух, воду, а я придумывал «неожиданный поворот», непременно с магнолией. И «поворот» нашелся.

— Через несколько дней,— заговорил я,— с Хоккайдо приплыл на этой лодке пленный айн. Он привез Насендусу подарок — ярко-красные семена какого-то растения. Ханако просила взрастить их на сопке в память о себе. Ниспа посеял семена. Весной пробились сквозь землю нежные деревца. Удивились айны — никогда не видели на Кунашире таких

растений. Листья у них были округлые, в две ладони шириной, снизу мягкие, с красноватым пушком, сверху зеленые, точно всегда мокрые. Часто ниспа ходил к чудным деревцам, смотрел на острова Ессо. В его душе гасла ненависть к японцам, прогнавшим айнов с земли предков. Может быть, ниспа старел... Прошло несколько лет, и старый печальный вождь увидел на деревцах большие белые цветы. Они словно плавали среди листьев, и ветер разносил густой радующий и томящий аромат. Нежные лепестки напоминали ниспе белое лицо Ханако, гибкий ствол — ее стан, а листья — ласковые ладони японки. Он сорвал самый большой цветок и унес к себе в землянку... Утром айны нашли ниспу мертвым — он умер, надышавшись усыпляющим запахом цветка. Воины решили: Ханако взяла к себе ниспу, отомстила ему за свою тоску на чужбине. Они поставили на могиле Насендуса самое большое махровое камуй-инау — знатному предку, рядом инау поменьше — японке Ханако... А южное нежное растение до сих пор цветет в лесах Кунашира. В Японии его называют «мокурен», «моку» — дерево, «рен» — лотос. Лотос на дереве.

Мы помолчали. Потом Толя сказал:

— Здорово сочинили, аж страшно. Поверить можно... А как вы узнали, что у магнолии запах такой... приятный и ядовитый?

— Вычитал где-то.

— Это правда, ядовитый. Я принес раз цветок и оставил на окошке. Утром голова болела, а во рту было так, будто чего-то сладкого объелся.

Сверху невидимыми ручейками тек сквозь листья магнолии радующий и тревожный аромат. Хотелось запомнить его, унести с собой. Я вдыхаю глубоко, жадно, чувствую легкое кружение в голове, поднимаюсь:

— Пойдем, Толя.

Мы продираемся сквозь лианы, перепрыгиваем через прелые, заросшие скользким мхом валежины, раздвигаем руками липкую паутину. Идем вдоль склона, ищем тропинку и, когда находим ее, останавливаемся. Внизу — расплющенные на желтом песке крыши поселка, длинная эстакада, беленький катерок, розовая, похожая на икру галька берега. И — море. Оно спокойное, высокое; оно — как вздох свежести и света, который поднялся до неба да так и застыл, не оторвавшись от земли.

— Эх, море! — сказал тихо Толя и повернулся ко мне: — Много я написал про море — и все не то. Вот чувствую его, а слова не находятся. Я даже через космос его протащил, послушайте:

Ракета, как взрыв вулкана,
Взлетит в огневой пыли,
И глобусом в бездну канет
Теплая твердь Земли.
Но долго во мгле не утонет
Моря сиянье внизу,
И космонавт уронит
Капельку соли — слезу.

Идем вниз. Я думаю о стихах. Конечно, я мог бы сказать Толе, что не совсем хорошо читается строка «Ракета, как взрыв вулкана», но не стал ничего говорить — это не главное. Да и Толя не спросил, понравились ли его стихи.

Мы спускались, и море опадало, тонули в нем дальние дымчатые мысы, а ближний, черно-зеленый, рос, подпирал небо. Крыши поселка отделились от песка и зелени огородов, проглянули стены и окна, и послышался мягкий стук катера у пристани. Мы- сбежали к самой воде, вспухшая волна едва не окатила нас.

Гора осталась позади и в нашей памяти. Стало чуть грустно. О такой грусти не говорят. Мы переглянулись, вздохнули, и Толя сказал:

— Пойдемте улов смотреть.

На плоту шумела вода, визжали и хохотали девчата от грубоватых ухаживаний парней, из плашкоутов на доски выбрасывали кету, мокро, звучно шлепающую хвостами. Белой пургой кружились чайки, падали в море; кажется, если долго смотреть на них, можно почувствовать прохладу. Зелено-замшелые сваи плота стояли в бурой воде: сверху стекала рыбья кровь, и рыбьи потроха красными медузами уплывали в зеленую глубину.

Навстречу шла Толина мать, несла в руке ведерко; увидев нас, быстро поправила платок (я заметил после: она часто поправляла платок, прятала седеющие волосы). Остановилась, аккуратная, совсем еще молодая, смущенно улыбаясь. Толя положил руку ей на плечо, усмехнулся еле заметно, кивнул мне, как бы говоря: «Она такая, стеснительная...» И мне сделалось хорошо, спокойно за Толю и его мать: они выстоят, потому что дружны, потому что Толя уже взрослый.

— Вам на ужин,— сказала женщина с той же улыбкой, подняла ведерко и быстро добавила: — Это вкусно...

В ведерке были кетовые сердца, молоки, печень. Я знал, что это очень вкусно, поблагодарил. Знакомство состоялось — просто, без рукопожатий, лишних слов.

На пристани мы пробыли до вечера, смотрели улов, говорили с рыбаками.

Утром я уехал.

Ответа на мое последнее письмо не было особенно долго. И когда наконец я раскрыл конверт и прочел Толины обычные слова: «Извините, пожалуйста, уважаемый...», мне стало даже весело. Но дальше шло вот что:

«Сразу вам скажу: я бросил писать стихи. И никогда не буду. Я хорошо подумал. Вы огорчитесь, вам очень хотелось сделать меня поэтом. Писатели любят выращивать. Но я знаю, что не вырасту. У меня не хватает уверенности, во мне сидит мужичья душа, она стесняется пера и бумаги, ей подавай настоящее, крепкое дело. Правду говорит мать: «Толя, тебе надо получить специальность, стать на ноги». Она не хочет видеть мои руки белыми, белые руки очень «ненадежная специальность».

Я понимаю мать. Ей все кажется, что я не совсем настоящий. Значит, надо мне покрепче других, лучше других быть. А знаете, и во мне что-то такое иногда копошится: я должен им доказать... Кому? Глупости, правда? Это, наверное, маленькая болезнь. Но, в общем-то, не в этом дело.

Я решил «стать на ноги». Вот уже два месяца плаваю на нашем катере-«жуке» учеником моториста, выполняю команды дяди Ивана и даже бегаю для него за водкой. Это ничего. Он хороший человек, но старый и с пережитками. Дядя Иван, пожалуй, не скоро выпустит меня из своей «школы». Ему нравится жизнь с помощником.

Мы таскаем на «жуке» плашкоуты с рыбой, грузовые баржи. Уходим из поселка на несколько дней, ночуем в чужих причалах, знакомимся с катеристами, смотрим кино. Раз попали в такую штормягу, что стекла в рубке повыбивало. Страшно было. И я почему-то вспомнил тот тихий день, когда мы сидели под магнолией. Мотор раскалился, громыхал вразнос, когда оголялся винт, душно пахло горячим маслом. Матерился дядя Иван. А я о магнолии... Потом стыдно стало. Словом, струсил. За это наказал себя: подряд две вахты отстоял.

Мать очень довольна моей работой. Она встречает меня на берегу, готовит «рабочий» обед, покупает пол-литровку. Я не пью, но она все равно покупает — так делают другие бабы. В доме у нас пахнет бензином и железом, мы обсуждаем рыбацкие дела. А руки мои добела никогда не отмываются.

Меня уже не зовут поэтом, и корреспондентов встречает теперь библиотекарь дед Игнатьев. Он когда-то писал стихи, пробует опять ямбы и хореи и старается «пропечататься» в какой-нибудь газете. Просил дать ваш адрес, я сказал, что потерял. Пожалел вас.

К нам приехали сезонники. Они поломали «вековые» устои поселка Алехино. Старухи охают и вздыхают: «Откуда их черт принес?» За полночь рыдает гармонь, от песен дребезжат стекла в окнах, лают собаки. Сыграли две свадьбы, учинили несколько драк.

Поселяне притихли, даже самые «принципиальные» соседки, повариха и пекариха, перестали переругиваться через забор. Вспомните кунаширскую шутку «Нет мира под магнолиями».

Не жалейте меня как поэта. Стихов много, так много, что самые хорошие и не перечитать. Стихов будет еще больше. Потом все будут писать стихи, как у Маяковского: «Землю попашут, попишут стихи».

Вот и все.

Я скоро буду мотористам. Поздравьте меня.

А. Верников».

Прошло два года. От Толи не было ни одного письма. Недавно я написал библиотекарю Игнатьеву и попросил сообщить, живет ли в Алехине Толя Верников. Старик ответил телеграммой, кратко: «Адресат выбыл острова»

СКАЗКА ПРО ВЕЛИКОГО ФИФЛИ

В глухом лесу под кучей сухого валежника в заячьей семье народились зайчата. Поначалу зайчиха не различала их — куцые, пухлые; но потом заметила, что один зайчонок не похож на своих братцев и сестричек, будто бы и не родной им вовсе. Был он лохматый, с укороченными ушами, прихрамывал и, что самое ужасное, почти черного цвета. «Фифли, — сказала зайчиха, — уродец. Лиса его искалечила, когда я в лапах у нее побывала...» — «Ффифли», — согласился заяц-отец горюя.

Вскоре родители увидели, что Фифли совсем не растет и не по-заячьи злой. Его нельзя оставить в логове — кусал и царапал других зайчат, опасно вывести на поляну — черная шерстка Фифли четко выделялась на нежной весенней зелени. Стыдно было перед соседями-зайцами за такого детеныша, и решили бедные родители избавиться от уродца. Отвели его в дальний скудный лесок, за три болота, и там бросили, легко убежав, потому что Фифли был хромой, плохо видел.

До вечера Фифли прыгал меж корявыми березками, не закрывавшими неба, щипал траву, верещал, а в сумерки забрался на старый сухой пенек — здесь его меньше пугали мыши, светлее был воздух. Но едва он задремал, как что-то черное, огромное, с ветром и одуряющим запахом налетело сверху, накрыло его, сшибло с пенька. Фифли покатился, цепляясь за кочки, а это черное снова обрушилось на него, растопырив когти, и Фифли сделал то, что делают в таких случаях его сородичи: перевернувшись на спину, ударил задними лапами злое неведомое существо. Послышался птичий вскрик, запестрели над поляной перья. Тяжелая птица низко и вяло улетела во тьму. Фифли забился под кочку с нависшей сухой травой, дрожа, перемог свою первую одинокую ночь.

Страшна была эта ночь. Она и научила Фифли самому главному в лесу: осторожности. Все слыша и зная, он сделался невидимым. Днем отлеживался под кочкой, в сумерки, да и то безлунные, выбирался попрыгать, траву пощипать. Как-то Фифли забрел на край поляны и в кустах ольховника увидел мертвую, с желтыми круглыми глазами птицу. Он понял, что это та хищная ночная птица. Маленький Фифли сплясал победный танец у погибшего врага и почувствовал себя увереннее, чуть ли не хозяином поляны. Но с первой порошей пережил не менее жуткий страх. Темной ночью он вылез на белый снег, и за ним сразу погналась лиса. Фифли хорошо знал свою поляну, каждую кочку, пенек, начал кувыркаться, прятаться, не умея быстро бегать. Лиса уже настигала его — был он как-никак уродец, — и тут под одной дряхлой кочкой Фифли обнаружил нору, юркнул в нее. Долго лежал в тепле, на мягкой подстилке из сухих листьев и мха. Утром пришел барсук, выгнал его из своего жилья. Фифли не обиделся, напротив — спасибо сказал барсуку: теперь он знал, что шерсть у него всегда будет черная, даже зимой, и ему, чтобы не погибнуть, надо рыть нору. Так он и поступил.

Прошло два лета и две зимы. Фифли жил тихо и незаметно. Нора у него была глубокая, теплая. Он по-прежнему лишь в глухие ночи выходил на поляну. Все другое время спал или терпеливо лежал в темноте. От этого Фифли почти ослеп, ножки у него сделались маленькие,

как у крота, шерсть огрубела, стала колючей, заячьи уши обвисли, как у собаки-дворняжки. Его бы теперь не узнали родители и никто из лесных жителей, пожалуй, не определил, что за зверушка обитает в норе.

Однажды весной где-то за болотом загорелся лес. Дым стлался по земле, оседал в оврагах, низинах, и весь день Фифли дышал запахом гари, а в сумерках, выглянув наружу, он увидел близкое, во все небо зарево, слышался рев огня, грохот падающих деревьев. Через поляну бежали звери. Фифли заметил, что волки, лисы, зайцы, разная другая лесная мелочь двигались вместе, не боясь друг друга, не обижая слабых, словно появилась одна общая цель, которая была там, куда гнал их огонь. Фифли тоже захотелось бежать, но живший в нем страх оказался сильнее желания выжить, и он, завалив прелой листвой вход, поглубже упрятался в нору.

Пламя пронеслось над поляной, нагрело землю — Фифли едва не задохнулся от дыма и жары, — с ревом укатилось в ту сторону, где спасались подружившиеся звери. Его не остановили даже болота: старая трава была сухая, новая еще не появилась.

Выбрался Фифли на воздух и оцепенел: мир был черен и пуст. Деревья превратились в угольные столбы, земля — в мертвую золу. Лишь сиял и журчал, будто приблизившись, ручей в овраге да неистово радовались теплой болотной воде лягушки.

А несколько дней спустя осмелевший от одиночества Фифли столкнулся на поляне с каким-то лесным жителем. Удивился и испугался. Метнулся было к норе, но услышал позади жалобный голосок:

— Не прячьтесь, пожалуйста, я заяц!

Фифли выждал минуту, присмотрелся. Действительно, это был заяц, только весь черный от сажи, исхудалый, едва передвигавший вялые лапы.

— Вы кто? — спросил заяц.

— Фифли.

— А зверь какой?

— Не знаю.

От слабости у зайца не смыкались губы, казалось, он непрестанно скалится желтыми зубами, уронив уши на спину. Заяц долго молчал, утомившись от разговора.

— Таких я не видел, — просипел наконец. — Ты не хищник, правда?.. — Заяц подождал, пока Фифли кивнет, обрадовался. — Тогда скажи, чем ты питаешься? Мы умираем с голоду. Зайцам нечего есть: ни травы на земле, ни коры на деревьях.

— Ешьте коренья, — сказал Фифли.

— Коренья?

— Копайте лапами и ешьте.

Фифли припал к земле, разгреб золу, когтями разорвал дерн и выкопал белый сочный корень цветка ириса.

Заяц был так потрясен, что ничего не смог вымолвить, повернулся и неожиданно юрко запрыгал в ту сторону, откуда прибрел.

Прошло какое-то время, и на поляну прилетела сорока. Усевшись на обгорелый пенек возле норы Фифли, она заверещала:

— Здесь живет умный Фифли! Он спас зайцев от смерти. Зайцы от всей души благодарят его, желают счастья в личной жизни. Они никогда не забудут Фифли. Скоро весь лес будет знать про умного Фифли, я расскажу всем-всем! Я полечу, чтобы не мешать думать Фифли. Я полечу!..

Стало тихо, Фифли уснул. Беззвучной, черной была ночь. Понемногу Фифли позабыл о зайцах, сороке и думал, что жизнь его теперь пойдет спокойно, будет долгой, приятно сонной. Но как-то ранним утром на поляну забрел волк. Настоящий, седогривый, клыкастый. Только уж очень худой, утомленный, с белым, выпавшим из пасти языком. Фифли нырнул в нору, прикрылся пучком старой травы.

Серый гость понуро обошел поляну, обнюхал кочки, пеньки, уселся неподалеку от норы Фифли. Наконец отдышался, спрятал язык, заговорил:

— Мне сказали — иди за три болота, там живет умный Фифли. Он помогает зверям. Он добрый. Спаси нас, Фифли, — волки погибают. Наступил великий мор, даже зайцы куда-то подевались. Я не уйду отсюда, пока не услышу твое мудрое слово. Волки загрызут меня, потому что я хозяин рода и не могу накормить их. Помоги, я не забуду твоей услуги.

Фифли слушал волка и не мог унять зябкую дрожь в своем маленьком теле, видя клыкастую пасть, чуя хищный запах чужой шерсти. Но еще больше напугали Фифли слова серого гостя: «... не уйду, пока...» Да, если он не уйдет, Фифли сам с голоду подохнет. И вообще, кому нужен волк на поляне? От голода и злости еще нору разроет. Фифли решил отозваться, слегка высунул мордочку:

— Зайцев, говорите, нету?

— О да, умный Фифли. Как я рад, что слышу твой голос.

— Так. Куда же они?.. — И Фифли догадался вдруг: — В норах они. Ройте и питайтесь.

— Это правда?

— Правда. Я знаю.

— О, Фифли!

Волк исчез, будто и не было его вовсе, а к вечеру над лесом появилась сорока. Еще крикливее, еще восторженнее она оповещала:

— Мудрый Фифли спас волков! Звери, птицы, насекомые, знайте об этом. Мудрый Фифли живет на поляне за тремя болотами. Слава Фифли!

Если бы Фифли мог поймать эту болтливую птицу, он разорвал бы ее когтями и бросил в ручей, чтобы вода унесла куда-нибудь подальше ее пестрые перья. Ну зачем Фифли слава? Он тихий, незаметный уродец. Он никого не трогает и себя не хочет показывать. Ему надо жить так, как живут мыши: они есть, но их никто не видит. Придется искать другое место, копать новую нору, если не перестанет трещать сорока и будут беспокоить его лесные жители.

Поляна понемногу оживала. Кое-где прошила черноту трава, у ручья зазеленел стебельками тальник, набухли почками уцелевшие на деревьях ветви. И удивительно: старые пеньки выбрызнули побеги, помогая земле укрыться зеленью. Не все выгорело в лесу, живое спряталось, затаилось, выждало — и вот потянулось к теплу и свету.

Звери начали возвращаться на свои родные места. Фифли видел, как по ночам осторожными табунами (уже не прежним валом) проходили олени, кабаны, козы, пили в ручье воду. Поверху перепархивали белки-летяги. Птицы отыскивали старые гнездовья.

Лесная жизнь налаживалась. Фифли решил, что теперь он никому не понадобится: каждый найдет себе место, добудет пищу в богатом лесу. И все же в одну лунную ночь (в такие ночи он лишь освежиться выползал из норы) его разбудил тяжкий топот, треск валежника. Выглянув, Фифли увидел лося. Огромный зверь задыхался от бега, раскачивался на ослабевших ногах, шкура была изодрана в клочья. Лось припал на колени, послышался слабый хрип.

— Отзовись, мудрый Фифли, — звучало в этом хрипе. — Помоги мне. По моему следу идут волки. Мне не уйти. И защищаться не могу: опали старые рога, а новые не выросли. Я не уйду с твоей поляны.

Из-за болота доносилось волчье подвывание; замолкали, шлепаясь в воду от страха, лягушки. Фифли сказал:

— Забреди, лось, в ручей и остановись посередине. Жди волков. Когда бросятся к тебе, выпрыгни на другой берег.

Лось послушно заковылял к ручью, через минуту длинными тенями пронеслись по его следу волки, а еще через минуту-две послышался отчаянный волчий вой, плеск взбудораженной воды: четыре волка, бросившись к лосю, не устояли на скользких камнях-голышах, течение сбило их и, барахтающихся, понесло к водопаду. Вскоре наступила лунная зябкая тишина. От ручья долетел негромкий всхлип лося:

— Спасибо, великий Фифли.

Едва показалось солнце, как все видевшая, все знавшая сорока принялась будить

лесных жителей, сообщая им о новом чуде, совершенном Фифли. Ей помогали не менее крикливые сойки, и гомон стоял невообразимый. Так базланить умели еще вороны, напав на дармовую добычу.

Фифли не любил птиц, не понимал их. Дневные птицы всегда шумели, суетились, ночные — неслышно падали с неба, ловили мышей, зайцев, да и сам Фифли едва не попал в когти совы. Но сейчас он без особой злости слушал сороку и соек, а слова «Великий Фифли» ему почему-то нравились. Даже бессовестное вранье сороки о том, как был спасен лось, — будто по приказу Фифли у лося выросли крылья, а ручей, сделавшись ураганным, утопил волков,— не очень возмущало Фифли. Пусть покричит — все равно никто не поверит.

Жители леса, однако, поверили. Весь день и всю следующую ночь к поляне тихо подбирались зайцы, еноты, барсуки; неслышно появлялись, почтительно замирали волки. Никто никого не трогал. Все смотрели на старый трухлявый пень, под которым была нора Фифли. Им хотелось увидеть его или хотя бы учуять запах, чтобы потом рассказывать о великом Фифли родным и знакомым зверям.

Фифли сидел голодный. Не мог он щипать траву и копать коренья на виду у всего леса — это любая мышь умеет. Не хотел он и показывать себя — смех поднимется, когда из норы выползет лохматый, хромой, неизвестной породы уродец. Но Фифли было приятно видеть такое поклонение, и он не чувствовал голода. Впервые был сыт иной пищей радостью за самого себя.

Так Фифли научился мыслить. Лежа в теплой темной норе, он придумывал, как наказать одного зверя, помочь другому, обмануть третьего. Фифли посоветовал лягушкам подальше от берега метать икру болото скоро усохнет (оно ведь после каждого паводка усыхает!). Старой голодной цапле показал мелководье, где можно было без труда ловить лягушек. Бурундуку намекнул, что белка ворует у него орехи, хотя белке ни за что не влезть в узенькую норку бурундука. Барсука натравил на змею, змею — на енота И всякий раз Фифли, ожидая, что из этого получится, глубже прятался в свое жилище вдруг звери догадаются о его хитрости, придут к нему за ответом. Но лесные жители еще больше славили, возвеличивали его. На чистой земле у своей норы он стал находить приношения — спелую ягоду, орехи, сочные коренья из дальнего леса. Фифли выбирался теперь на поляну лишь попрыгать, подышать ночным воздухом.

В конце лета, под вечер тихого, ясного дня, в соседнем лесу возник небывалый переполох. Тучей взлетели птицы, засуетилось, прячась, мелкое зверье. Качнулись, зашумели кусты возле крайних сосен, и на поляну продрался бурый медведь. Был он огромный, разжиревший, с разинутой пастью от одышки. Остановился, сел на задние лапы, слепо оглядел заспанными глазками поляну, рявкнул:

— Здравия желаю! — Медведь, как солдат, вытянул по бокам лапы и прибавил: — Великая Фуфля!

Прислушался, направив ухо в сторону пенька, и вдруг, махнув лапой, расхохотался:

— Покажись, Фуфля! Мудрая животная. Я тебя лапкой поглажу. У тебя шерстка, говорят, похожа на мою. Подружимся давай: ты великая, и я — хозяин. Двуумвират в лесу устроим, а?

Медведь был явно в подпитии — это с ними случается, когда переспелых ягод наедятся и ягоды забродят в животе или колоду меда в один присест вылижут,— куражился, показывал власть. Из-за стволов деревьев, из-под каждого куста на поляну смотрели лесные жители.

— Пресмыкалы! — рявкнул им Хозяин. — Где ваш мудрец этот?.. Сорока, позови его! — Сойки, сороки, вороны угодливо залопотали, поглубже прячась в ветви. — Вот сейчас ухвачу зайца или кабана, и пусть поможет им Фифля. — Медведь качнулся к лесу, зашумела листва, все мелкое и крупное зверьё ринулось от поляны. — Ха-ха! Хо-хо! Бросили своего спасителя!

Навеселившись, Хозяин потребовал:

— Ну, вылазь. Прижму лапой и барсуку отдам — ему все равно, что жрать. Так.

Трусишь, чертов уродец? А вот я сейчас... — Он повел носом в одну, другую сторону, но нюх у разжиревшего Хозяина был слабый и не указал нору Фифли. Это рассердило его, он оскалил пасть, дохнул смрадом своей утробы — Может, ты под тем пеньком? Держись тогда!

Медведь с ревом запрыгал по поляне, ударил лапой в трухлявый пенек — взвились щепки, пыль, колыхнулась земля, — он бросился к ручью, перебрел его, охладив себя водой, и удалился в чащобу.

В наступившей немой тишине Фифли понемногу опомнился. Оказывается, он непрестанно работал лапами, зарываясь в землю. Подстилка была смята, пахло сыростью. Кое-как устроившись, Фифли решил дождаться ночи и уйти подальше от этого пенька, от этой поляны, от этих злых, скандальных, глупых зверей. Есть ведь другие леса, поляны, пеньки.

Он лежал потный, грязный, голодный. И плакал. В его маленьком теле была очень маленькая, никому не нужная душа. Но она не хотела умирать. Она просила, принуждала Фифли жить, обещала радость, покой. Душа была маленькая, одинокая и потому, наверное, сильная. Она приказала ему не плакать, заставила уснуть.

К полуночи сделалось прохладно. Фифли высунул рыльце наружу, прислушался. Капала с листьев роса, шушукались мыши, что-то радостно и картаво выговаривал ручей. А вот чьи-то голоса. В чапыжнике судачили два барсука.

— Дела-а... — сказал, вздохнувши, один. — И чего он расшумелся-то?

— За власть свою боится, — ответил тихо другой.

— Да нешто такой маленький зверек ровня ему?

— Маленький, а внимание какое на себя обратил.

— Не силой же.

— Власть — она и есть власть, хоть лаской. Давай-ка помалкивать. Не наше дело. Хозяин сам разберется.

— Это правильно. На него одна управа — человек.

Барсуки отправились мышковать. Фифли едва не крикнул им вслед: «Жалкие трусишки, предатели! Еще вчера днем вы угодливо кланялись моей норе!» Однако сдержал себя: что толку в скандале? Обиженных не любят. К тому же Фифли узнал от барсуков и нечто полезное: сильнее медведя только человек.

О человеке кое-что слышал Фифли, хоть мало интересовался им — незачем было. Теперь же он все припомнил. Человек — не слишком крупное существо, но ходит на двух ногах, не имеет шерсти (вместо нее — какая-то кожа, которую он может снимать), не роет нор, селится в деревянных и каменных берлогах, загоняя туда огонь. У него есть помощники — вонючие, рычащие железные существа, которым нипочем любые клыки и когти. В лес человек ходит с прирученным волком и железной палкой. Из палки выплескивается пламя, убивая все, во что попадет. Нет зверя сильней, страшней и умней человека.

«Он мне поможет, — сказал Фифли. — Я подумаю — и он мне поможет. Я никуда не уйду отсюда. Лучше умру. А эти все... — Фифли выпрыгнул из норы, повел грязной головкой, обозревая поляну. — Эти все, мелкие и крупные, тихие и крикливые, навсегда покорятся мне».

Он знал, что где-то за горой, за оврагом есть деревянное логово человека, в котором тот временно живет, приходя в лес убивать из огненной палки зверей. Несколько ночей подряд — глухих, безлунных — Фифли бегал за гору и наконец нашел жилище человека. Очень странное сооружение — из сухих, уложенных друг на друга бревен, крытое еловым корьем, с блескучим глазом в стене; и пахло от него так не по-лесному, так враждебно, что шерсть у Фифли взъерошилась, как у ежа. Свежих следов человека не было, и Фифли решил, что тот еще не появился.

Выпал первый ровный снежок. В лесу сделалось тише, просторнее: звери таились, привыкая к зимней жизни. Фифли побежал к логову человека и еще издали услышал частый, отрывистый лай. Такого голоса никто из лесных жителей не имел. Фифли догадался: лаяла

собака, друг человека. Дождавшись полной темноты, Фифли осторожно подобрался к деревянному жилищу. И опять у него поднялась дыбом шерсть от страха и враждебности: блескучий глаз теперь излучал острый свет, а внутри логова было невыносимо ярко, красно — там пылал жаркий костер, выпуская дым сквозь старое корьё крыши. Фифли подумал, что человек сгорел в таком жилище, потому и собака лаяла, но тут же увидел человека: длинный, на двух ногах, в гладких кожах, наросших одна на другую, с круглой лысой головой и не звериными, ласковыми глазами; передние лапы у него болтались просто так, без дела, все хватали что-то, суетились, и Фифли хотелось, чтобы человек успокоил их, став, как полагается всем существам, на четыре лапы. Снаружи вбежала собака — лохматая, черной масти, с отвислыми ушами, коротеньким хвостом; легла у самого огня, прижмурила человеческие глазки; она была совсем не похожа на волка (зря болтали, что собака — прирученный волк). На стене висела железная палка, не страшная на вид, но железная...

Долго Фифли лежал в зябком оцепенении, не имея воли отвести взгляд от красного глубокого провала в стене, позабыв, зачем он пришел сюда. Он начал понемногу замерзать, когда сверху упал ком снега, испугал его. Фифли вскочил, припомнил то, что было обдумано им, решено заранее: надо протоптать тропу от логова человека к логову медведя. У собаки — знал Фифли — хороший нюх, утром она станет на свежий след и приведет своего двуногого хозяина к Хозяину леса.

Всю ночь Фифли бегал от жилища человека к берлоге медведя, пробил в тонком снегу тропку до самой земли, обломал кое-где ветки, натрусил своей шерсти. Перед тем как спрятаться в нору он, поднатужившись, крикнул сороке, дремавшей на сосне в ожидании новостей:

— Человек убьет медведя! Я приказал человеку!

Фифли сразу уснул, но спал настороженно, ловя звуки, шорохи. В глубине леса возник частый, задыхающийся лай собаки, раздался выстрел, хриплый рев поколебал землю, еще выстрел. И — ледяная тишина. Фифли зарылся в сухую траву, прикрыл лапами уши, уснул — как умер. Очнулся он через сутки, выглянул из норы, чтобы посмотреть погоду, и сразу услышал:

— Мудрый, великий Фифли победил Хозяина! Фифли самый сильный на земле! Слава нашему Фифли!

Сороки, сойки, вороны и всякая другая птичья мелочь черными тучами носились над лесом, дико выкрикивали эти слова. Поляна была истоптана звериными следами, а у самой норы Фифли обнаружил кедровые орехи, мороженые ягоды, сухие грибы.

Скоро наступила зима, завьюжила троны, заледенила ручей, усыпила деревья. Трудно стало птицам и зверям добывать пищу; лес притих, чутко прислушиваясь к своей дрёме, лишь клесты суетливо расклевывали сосновые шишки, осыпая шелухой сугробы. Но Фифли жилось легко. Все так же у своей норы он находил еду, и незачем было ему грызть горькую таловую кору. Он растолстел, едва помещался в норе, хотя гулял много, даже в лунные ночи: какие-то звери протаптывали ему тропки, охраняли поляну, сидя в кустах. А когда ему надоела зима, захотелось зеленой травки, он сказал зябнувшим на еловых ветках галкам: «Оповестите всех — будет весна!» Галки понесли над лесом радостную весть, и весна наступила.

Незабываемая для Фифли весна.

Погожим ранним утром к поляне пришли все крупные и мелкие жители леса, прилетели птицы. Толпа зверей и пернатых заняла пространство от ручья до болота, от горы до оврага. На каждом пеньке, любой ветке, сырой кочке кто-нибудь сидел или стоял. Но было тихо, молчали даже сороки. И в этой тишине почти воздушными шагами к норе Фифли приблизились старый медведь и седой волк. В знак покорности и почтения они подогнули передние лапы, преклонили головы. Послышался негромкий басок медведя:

— Великий Фифли, прости и пожалей нас. Мы признаем твою власть, будем покорны тебе.

Волк проскулил по-собачьи:

— Мудрый Фифли, мы хотим пригласить тебя в лучшее место, на лучшую поляну. Мы построили для тебя жилье. Не откажи нам, Владыка.

Ничего такого Фифли, конечно, не ожидал и, по привычке, глубже спрятался в нору. Но звери не уходили. Фифли слышал тяжкое дыхание медведя, сопение волка, пугал себя их клыками, жадностью к мясу и вдруг понял, что он не боится их. Они не тронут его, потому что сами испуганы.

— Покажись нам, о Фифли! — попросил медведь.

«Сейчас или никогда, — решил Фифли. — Они пришли, приползли, прилетели... Им нужен Владыка. И не беда, что я уродец. Они ослепли, увидят то, что захотят. — Фифли почистил коготками шерсть, умыл подушечками лап рыльце. — Мне надоела эта гнилая поляна. Я умнее их. Я не виноват, что они таким меня уродили».

Рассерженный и взъерошенный, Фифли выбрался из норы.

Наступила жуткая тишина — кажется, замер воздух, остановилось в соснах низкое солнце, заледенела роса. А потом пронеслось легкое шуршание, колыхнул траву протяжный вздох и возникла приглушенная толчея, всхлипы, писк, рычание: звери придвигались, чтобы увидеть Фифли. Птицы сорвались с ветвей, немо закружили над поляной, прикрыв небо. Стало тревожно, сумеречно. Ничтожность Владыки породила ужас перед его могуществом.

Медведь припал к земле, положил голову на вытянутые лапы, молча предлагая Фифли свою спину. Фифли изловчился, прыгнул медведю на холку, вцепился коготками в загривок. Медведь осторожно поднялся, тихо пошел, приноравливаясь к седоку, и скоро мягкими прыжками он несся меж деревьями, перемахивал ручьи, взбирался на склоны сопок. Следом едва поспевал волк, за ним, растянувшись по лесам и долинам, двигалось великое множество зверья. В небе, указывая путь, летели птицы. Падали деревья, грохотали, срываясь в бездны, камни, слышались крики гибнущей под ногами мелкой живности... Все поднялось, бурно устремилось к новой небывалой жизни.

На исходе какого-то дня Фифли увидел впереди зеленую, сверкающую родниками, в россыпях ярких цветов долину. От нее веяло теплом, мирной тишиной; роскошные деревья были отягощены спелыми плодами. «Здесь! Здесь мне нравится!» — захотелось крикнуть Фифли, но медведь, замедлив бег, сам повернул к долине, прошел, не сминая травы, по ее пестрым лугам и остановился под широколистым деревом, шатром накрывавшим землю. В стволе дерева Фифли увидел сухое, опрятное дупло, перед дуплом был пенек, гладко срезанный, вроде пьедестала, у пенька — ровная, с маленькой ковровой травкой кочка, на которой лежали свежие ягоды, орехи, белые коренья. Две юные серенькие зайчихи появились из-за дерева и, опустив глазки, застыли возле пенька.

Медведь припал к земле, положив голову на вытянутые лапы, и Фифли прыгнул на пенек. В ветвях дерева хором запели что-то нежное и величественное маленькие розовые птички, а по сторонам дерева, возникнув тенями, сели на хвосты два матерых волка. Медведь удалился на окраину поляны, где зияло в огромном дереве черное дупло; все другие звери остались за пределами дивной долины.

Фифли легко принял новую жизнь.

У него было много вкусной еды, мягкая постель, ласковые зайчихи, которых он очень полюбил. Каждое утро к пеньку почтительно приближался медведь, говорил одно и то же: «Звери довольны, сыты, славят владыку Фифли». Незачем стали ночные прогулки, Фифли спокойно спал даже в росные лунные ночи, нравилось ему и днем, если было знойно, поваляться в прохладном дупле. На пеньке он восседал по утрам да в тихие вечера, строго озирая долину, слушая журчание родников, пение розовых птиц.

Как-то раз вздумалось Фифли сходить в ближнюю рощицу, посмотреть, что за лесной крикливый народец обитает там. Он спрыгнул в мягкую траву, заковылял потихоньку, разминая лапки. Но тут же, сорвавшись с насиженных мест, встали перед ним два мрачных волка, позади заверещали, прося Фифли вернуться, зайчихи. И он влез на свой надежный пенек, радуясь, что звери так бдительно оберегают его жизнь.

Прошли годы. Фифли одряхлел, почти ослеп, шерстка сделалась редкой и седой. На пеньке теперь все долгие дни неподвижно сидел маленький зверек-упырь, мутными глазками озирал леса, прислушивался. Он мало спал, брезгливо и скупо ел. Он прогнал зайчих, приказал замолчать розовым птицам, пожелал усилить охрану — четыре волка с четырех сторон оберегали его, — и медведь только по вызову приближался к пеньку. Он любил покой, мертвую тишину. И если где-нибудь в рощах раздавался хищный рык или вопли мирных обитателей, Фифли не тревожился: ему давно внушили, что все жители его владений, от мала до велика, по примеру Владыки питаются плодами растений, кореньями, травой.

Однажды ночью, когда Фифли дремал на пеньке, а волки, проголодавшись, все разом ушли подкрепиться свежей добычей, на поляну у старого дерева забрела лиса. Она была из дальних, чужих краев, тощая. Увидев жирного дремлющего зверька, лиса схватила его, размяла в зубах и на ходу проглотила.

Утром волки доложили медведю, что исчез великий Фифли, склонив при этом седые повинные головы. Старый медведь помолчал, озираясь вокруг, сказал одно слово:

— Чудеса!

Сидевшая на дереве сорока вспорхнула, закричала:

— В небеса! В небеса вознесся Владыка! — и полетела над долиной.

— В небеса? — удивились волки.

— В небеса,— подтвердил, подумав, медведь. — Сорока видела.

И Фифли сделался богом. До сих нор звери веруют в него, молятся ему, ждут его пришествия для справедливого Страшного суда.

СКАЗКА ПРО ЧОКУ

Болото было большое, и лягушки жили в нем хорошо. Хватало тины, воды, зарослей осоки. Цвели здесь кувшинки и много водилось всякой живности: комаров, мошек, личинок. По утрам лягушки долго спали от сытости, зато к вечеру, когда согревалась вода и над болотом скапливался пахучий туман, квакали и скрипели на самые разные голоса, чтобы выказать свое полное довольство жизнью, оповестить все сущее на земле, как им прекрасно в большом, зеленом болоте.

Квакал и молодой лягушонок но имени Чока. Прозвали его так за то, что он, открывая рот, очень красиво причокивал. Это нравилось всем, и Чоку считали талантливым. Были у него и другие достоинства: он отлично прыгал, на целый час заныривал в тину, имел на спине два золотистых пятнышка, что и вовсе считалось необыкновенным.

— Какой кррасавец! — скрипели старые лягушки, жмуря желтые ослепшие глазки. — Каких головастиков нар-родит !

Чока слушал их, и ему становилось обидно: «Как они глупы! Всю жизнь киснут в этом болоте и думают о каких-то головастиках!..» Он выполз на широкий лист кувшинки, надолго задумывался. Грело солнце, звенели комары, душно парило болото и тонко пах белый цветок кувшинки. Было смутно, сонно, влажно вокруг. Чока щурился, вглядываясь в древние деревья на опушке леса, они казались мутно-зелеными и тоже туманными: Чока хорошо видел только то, что было рядом с ним, даже края болота ему мерещились, как во сне. Но все равно он упрямо глядел на опушку, в темные провалы между деревьями, а когда поднимал голову, глох и слеп от сияющей бездны неба. Он уставал сидеть на листе кувшинки, у него высыхала кожа — от этого поднимался в теле необыкновенный жар, — однако он не позволял себе нырнуть в воду: еще рано, еще мало собралось вокруг обеспокоенных сородичей, гадающих: «О чем так глубоко задумался Чока?..»

Лягушата и лягушечки больше взрослых пялили глаза на Чоку, открывали ротики и пробовали часто и трудно дышать — как это делал Чока. Они очень хотели быть похожими на него, чтобы и их хвалили за какие-нибудь таланты, но терпение у них было маленькое, как раз такое, чтобы выждать и слизнуть языком с травинки комара, и трудно дышать они могли

совсем недолго.

Приплывали к листу кувшинки старые, утомленные жизнью родители, вежливо просили Чоку хотя бы разок окунуться в воду. Им помогали, горюя, другие многолетние лягушки. Чока никого не видел, и деревья на опушке ужо не казались ему зелеными — они вспыхивали то желтыми, то розовыми мутными пятнами: так тяжело было Чоке, так напекло его солнце. Вокруг листа кувшинки скапливались все жители болота, приплывали даже тритоны с самой окраины. И когда поднимался настоящий гвалт от всеобщих восторгов и вздохов, а родители начинали тихо плакать, Чока спрыгивал в воду, уходил глубоко, к самому дну, и лежал там долго, остывая в мягком иле. И это тоже было удивительно, не каждому посильно.

Однажды в очень жаркий день Чока сидел на своем листе кувшинки и сильно грустил. Почему-то медленно собирались сородичи, вяло квакали, и Чока стал думать. «Что за жизнь?.. Как скучно, как серо вокруг! Какая вонь из болота! А лягушки?.. Ни одной светлой личности. Болотные обыватели!» Думал Чока долго, мучительно, все больше расстраивая себя.

Собрались сородичи» заквакали. И их голоса показались Чоке противными. «Не могу!» — решил он. Глянув в шумящую толпу, Чока крикнул:

— Уйду!

— Куда, куда? — испугались родители.

— Туда! — сказал Чока, указав лапкой на деревья между которыми смутной темнотой зияли провалы.

— Как! Как! — заквакала толпа.

— Упрыгаю! — совсем рассердился Чока.

Он соскользнул с листа кувшинки, быстро подплыл к краю болота, выбрался на берег. Позади плескалась и рокотала испуганная толпа. Чока хотел глянуть в последний раз на родное болото, но удержался: «Это слабость, да и лягушки подумают еще, что трушу»,— и легко запрыгал к опушке леса.

На траве не обсохла еще с ночи роса, она окатывала Чоку, когда он задевал листики, и прыгать было очень приятно, свежо. Роса напоминала хороший теплый дождик, от которого кожа покрывается нежной прохладной слизью. Чока подпрыгивал все выше и выше, на мгновение видел деревья — уже совсем зеленые,— падал в траву и снова подпрыгивал. Он обезумел от счастья и восторга и хотел только одного: оторваться, полететь над травой, кустами, подняться выше деревьев и увидеть всю землю.

Через лужицу, мимо трухлявого пенька, обогнул куст боярышника. Выше, выше... Уже близко деревья. Какие они огромные! И шумят так, будто хлещет ливень. А что за ними? Что за теми сумерками, за туманом леса? Вдруг — огромное, прекрасное, необитаемое болото. Тина нежнейшая, комарья тучи, жирные личинки... Чока поживет в нем, вернется к сородичам и... Выше, еще выше! Вот бы оторваться и полететь...

И Чока оторвался, полетел. Его охватил со всех сторон воздух, от невесомости сперло дыхание, Чока квакнул, изумляясь, и расправил лапки, как крылья. Он летел! Да, он летел!.. Но вдруг его окутала темнота, он уловил запах прелой сырости, и... сильный удар лишил его памяти.

Приходил в себя Чока медленно, так, точно снова из икринки вырастал в головастика, из головастика — в лягушонка. А когда вырос, ощутил себя всего, до кончиков лапок,— увидел плесень на старых досках, глинистые стены, размытые дождем, и высоко-высоко клочок неба с жидкими верхушками деревьев.

Чока понял: он свалился в яму. И испугался и заквакал, изо всей силы раздув свое горло. Где-то далеко, чуть ли не в самом небе, отозвались лягушки, и опять стало тихо. Чоке сделалось стыдно: он так некрасиво, испуганно квакал (позабыл даже причокнуть), что родня болотная может подумать о нем, будто ему плохо или он жалуется. А лягушата и лягушечки смеяться начнут, кувыркаясь в тине. Чока еще пуще раздул свое горло и зачокал, захохотал,

подняв голову к дрожавшим на ветру верхушкам деревьев.

«Не надо пугаться, — решил он, — главное — хладнокровие». У него же, у Чоки, кровь холодная. «Надо подумать, прикинуть, взвесить — и выход из ямы найдется».

Вон слегка обвалилась стена, чуть левее свесился клочок дерна с кустом крапивы, а рядом к углу ямы, наискось, тянется край замшелой доски. Подняться по ней до конца — и выпрыгнуть.

Чока вскарабкался на доску — сырую, осклизлую, осторожно пополз вверх. Не надо только смотреть в яму, чтобы не свалиться, да и что там интересного, внизу? Чока уставился в белую тучку в небе, и почти совсем спокойно дополз до края доски. Здесь яма была намного шире, гуще виднелись верхушки деревьев, голубее светилось небо. И кромка дёрна совсем близко, только изловчиться и прыгнуть изо всей силы.

Передохнув, Чока напряг свои задние лапки, раздул горло для большей легкости, оттолкнулся и весь вытянулся, летя к зеленой траве. Он вцепился в дёрн, мгновение висел, но жидкий мох не удержал его. Кувыркаясь, осыпая со стены желтую пыль, Чока упал в яму.

Он ослеп от пыли, долго мигал глазами, встряхивал головой. Его облепила паутина, какая-то серая слизь. Однако он не ушибся, угодил на мягкую, еще не слежавшуюся глину. Отдышался. Когда стал хорошо видеть, вскарабкался по доске вверх. И опять, едва коснувшись дёрна, свалился на дно ямы.

Чока поднимался, падал, снова поднимался... Начало темнеть, появилась роса. Доска сделалась мокрой, и Чока так утомился, что не мог уже держаться на ней.

«Ничего, — сказал он. — Я завтра. Отдохну, разозлюсь и... Я сильный, выпрыгну!»

Понемногу привык к темноте, огляделся. В яме оказалось не так уж пусто: вон ползет по куску глины колючая гусеница (жаль — таких лягушки не едят), в углу п аук сплел паутину, и в ней бьются мошки (можно их слизнуть, если ничего другого не найдется), а вот большой малярийный комар притаился под гнилой щепкой... Чока прыгнул к нему, мелькнул язычок, и комара не стало. В животе сделалось колко и тепло, захотелось много еды. Еще двух комаров он разыскал под другими щепками, проглотил слизняка на листе бледного лопуха, после слизнул мошек, прыгавших в паутине. Большой сердитый паук с желтым крестом на спине ударил Чоку всеми своими лапами, зашуршал, зашипел и уполз к себе в дом — темную щель, затянутую плесенью.

Чока обиделся, запрыгал в другой край ямы, по пути разорил чье-то гнездо с белыми вкусными личинками и в самом углу наткнулся на круглые железки, пахнущие ржавчиной. Чока вспомнил, что на дне болота валялись точно такие же железки. Долго никто не знал, откуда они взялись и почему от них такой нехороший запах: вода и то портилась. А совсем недавно прискакала с соседнего болота старая, замшелая лягушка (разругалась со своей родней) и рассказала, что однажды была война. Воевали люди с людьми, стреляли, бомбили, и, когда бомбы разрывались в болотах, гибло много лягушек и тритонов. Будто бы люди тоже падали в болота, тонули. В таких местах вода делалась совсем непригодной для жизни, приходилось лягушкам переселяться. Много еще кое-чего рассказывала старуха, но ей не очень верили, особенно молодые. А Чока назвал ее брехуньей, за что получил от матери шлепок: престарелых лягушек даже из чужих болот полагалось уважать.

И вот опять эти железки. Может, и вправду воевали когда-то люди? Убивали друг друга, портили болота. Трудно поверить, и непонятно, зачем была война. Чока видел людей возле болота в лесу. Они огромные, шумные и пестрые. Но не очень страшные, и никогда Чока не слышал, чтобы они убивали лягушек. Конечно, никто не знает, зачем люди живут на свете, однако, если живут, — пусть. Чока никогда много не думал о людях — своих, болотных, дел ему хватало.

А теперь подумал: «Пришел бы человек и вытащил меня из ямы. Он большой. Может, как раз он и нужен для того, чтобы вытаскивать лягушек из ям?..

Чока запрыгал вдоль стены, чтобы все узнать, все осмотреть. Попадались разные вещи: кусок кирпича, гнилая тряпка, рваный сапог. А вот лежит старая банка. Чока сунул в нее рыльце, желто зажег свои выпуклые глаза. Сначала почувствовал неприятный запах, потом

увидел клочки шерсти и белый скелет. Догадался: в банке погибла мышь.

Это расстроило Чоку: даже юркая мышь не смогла выбраться из ямы. А как же он? Ему по-настоящему хорошо только в болоте: сушь — для тех, кто не умеет плавать. Но вдумываться Чока не стал, к тому же его перепугал большущий хрущ, на которого он наступил лапой. Хрущ завозился, забормотал, расправил жесткие крылья и так ими скрежетнул, что Чока в несколько прыжков оказался у другой стороны ямы. Удивился: зачем сидит здесь хрущ, если может в любую минуту вылететь наверх и переночевать где-нибудь в лесу?

Ничего интересного больше Чоке не попалось, да он и боялся теперь заглядывать под щепки, в темные лунки, обошел стороной ржавую банку. Зато в ямке у подмытого обрыва нашел лужицу воды. Она была чистая, дождевая. Лужицу прикрывал край замшелой доски, мох тонкими космами свешивался до самого низа (пил воду), и лужица была как бы отгорожена от всей большой страшной ямы. Чока раздвинул нитки мха, спрыгнул в воду и окунулся с головой. Лег на мягкое дно лужицы, притих, впитывая влагу иссохшей кожей.

Лежал долго, упрямо, как в своем родном болоте. А когда ему стало тяжко без воздуха, высунул рыльце из воды. Где-то вверху шумел ветер, плескались листья деревьев, будто текла речка, а еще выше мерцали звезды — хрупкие, чистые. Таких звезд Чока не видел над своим болотом (там они всегда блеклые, затуманенные и теплые), и казалось, что от них дует зябким ветром. Все живое затихло в яме, точно страшась и прислушиваясь к тому, что творилось в большом, свободном мире.

Лужица была, вероятно, холодной, потому что Чоке сделалось грустно, вяло, захотелось спать. И он уснул бы, но боялся — кто-нибудь подкрадется, проглотит его, — и изо всех сил пучил глаза. А когда наконец задремал, то сразу увидел родное болото, теплый ил на дне, широкие листья кувшинок. Звенят комары над водой, квакают лягушки. Резвятся лягушечки, а лягушата с восторгом смотрят на Чоку, учатся у него нырять и чокать. Затем вдруг Чока увидел, как откуда-то сверху медленно опустились в болото люди. Большие, тяжелые, но почему-то тихие и совсем не страшные. Они плавали между кувшинками, заныривали на дно, ловили крупных малярийных комаров. У них появились перепонки на руках и ногах, глаза стали желтыми и выпуклыми, как у лягушек, и кожа покрылась скользкими прыщами. Чока подумал: «Люди, пожалуй, убежали от войны, и теперь им будет хорошо в болоте. И места всем хватит».

Чока смотрел на людей, посмеивался над их неловкостью, быстро рос и, наверное, успел бы стать совсем большим, но где-то над ямой взошло солнце, нагрело глинистый обрыв, потеплела вода в лужице, и он проснулся.

Поняв, что сидит все в той же яме, Чока сильно огорчился; от расстройства у него часто заёкало горло, кожа сделалась колючей, словно обросла шипами. Где-то недалеко возился, трещал хрущ, потом он взлетел, слепо ударился в глину стены, выбив облачко пыли, и скрылся в сияющей пустоте над ямой. Чока решил, что ему тоже нужно туда, в открытый мир, в большую, настоящую жизнь.

Выбрался из лужицы, запрыгал к доске, которая одним концом почти упиралась в кромку обрыва, будто звала: «Поднимись по мне, оттолкнись — и будешь там...» Поднялся, увидел над собой, совсем близко, дёрн и зеленую траву, раздул горло, напрягся — и полетел ввысь. Но летел почему-то очень долго; когда решил глянуть — может, небо уже вокруг! — сильный удар оглушил его.

Чока упал жестко, на кусок кирпича, ушиб голову. Долго не понимал, что с ним случилось, потом снова медленно и зло полез по доске вверх.

Много раз он вскарабкивался и падал. А когда совсем ослабел, уселся на самый край доски — отсюда хорошо были видны дёрн, трава, клочок чистого неба — и принялся не мигая смотреть на все это. Смотрел, тосковал, и если бы мох и трава вдруг ожили, они бы дотянулись до Чоки и помогли ему выбраться из ямы. Хмурым вечером сполз вниз, проглотил комара и спрятался в лужицу.

Каждый день Чока пробовал выпрыгнуть из ямы. В том месте обрыва, куда удавалось

ему допрыгнуть, он выбил лапами углубление, и теперь почти невозможно было прыгнуть выше: мешала нависшая козырьком глина. Но Чока не сдавался — ведь был он Чока.

Как-то раз, утомившись, сидел он на краю доски, смотрел в небо. С вершины дерева сорвалась ворона, низко полетела над землей. Чока квакнул изо всей силы, не удержавшись от тоски. Ворона повела одним глазом, часто замахала крыльями и стала падать на Чоку. Не успел он спрыгнуть с доски, как очутился в клюве вороны и взмыл вверх. И, может, спасся бы Чока или попал в желудок вороны, но на нее налетели другие вороны, загалдели, подняли драку, и Чока снова свалился в яму.

Поздней осенью посыпался снег. В одну ночь померзли комары и другие насекомые, а в углу ямы ветром надуло белый сугроб. Чока забрался к себе в лужицу (ее уже застеклил ледок), зарылся поглубже в ил и, как полагалось ему, впал в беспамятную долгую спячку.

В апреле наступила весна, но только в конце мая растаял снег в яме, наполнил ее до половины водой, и Чока почувствовал у себя на дне смутное томление. Он шевельнулся, вытянул лапки. Потеплевший ил раздался, в трещины хлынула вода. Чока чуть поднапрягся, приподнял спинкой комья глины и вместе с облаком мути медленно всплыл на поверхность воды.

Сначала он ничего не видел — так было ярко вокруг; после, когда подышал теплым, сладким воздухом, он различил желтые стены ямы, остро-зеленую травку на кромке обрыва, тоненькие ветви деревьев и синее — так что стало больно в глазах, — небо.

Чока удивился и не испугался. Ему было очень хорошо: он наглотался, напился воздуха, побултыхал лапками и ощутил во всем своем тельце тепло жизни. Как хорошо, что он опять проснулся, дышит, двигается, и опять греет его солнце, над водой летают мошки и комарики! Разве может быть что-нибудь лучше всего этого! Чока раздул горло и оповестил о себе весь мир:

— Ква-чок!

Он долго плавал из конца в конец ямы, взбирался на обломки досок, грелся и снова нырял в воду. Он выгонял из себя истому, тупую тяжесть длинного зимнего сна.

Только потом, к началу вечера, Чока вдруг почувствовал, что ему тесно в яме, хочется куда-то в ширь, в густые травы, в листья болотных кувшинок. Хочется увидеть других, подобных себе квакающих, ныряющих. И Чока вспомнил, где он и что с ним случилось прошлым летом. От этого сделалось ему очень грустно, он весь размяк, будто его ударили палкой по голове. И начал тонуть, забыв набрать воздуха. А когда вынырнул и увидел глинистый обрыв, сразу прыгнул на него, зацепился лапами за гибкий корешок, повис.

Чока подумал, что наконец выбрался из ямы, но глянул вверх и тут же закрыл глаза, рыжими комьями над ним громоздилась отвесная стена. Держался, пока не занемели лапы, потом шлепнулся в воду. Поплавал, отдохнул и снова бросился на обрыв. Бился он весь вечер и всю ночь, лишь под утро, совсем обессилев, вскарабкался на щепку, задремал.

И, как когда-то давно, прошлым летом, увидел родное болото. Зеленую тину, мягкий ил, цветы кувшинок. Люди совсем превратились в лягушек, отлично плавали, покрылись водянистыми прыщами и квакали талантливо, с причокиванием, как умел только один Чока. И удивительно: Чока не сердился на них за это. Ему было хорошо плавать в зеленой тине, лежать животом на любимом листе кувшинки и никому не завидовать и даже людей считать настоящими, родными лягушками. И еще привиделось Чоке, будто он подружился с одним маленьким человеком, человечьим лягушонком. Вместе ныряли на дно и зарывались в ил, грелись, лежа на кувшинках, выпрыгивали на берег и гонялись за жирными вкусными мотыльками. Человечек был больше Чоки, лупоглазый и громкий, не слушался своих родителей и объедался мотыльками. Но это пустяки, просто он не привык к земноводной жизни. А друг был настоящий. Когда они вместе прогуливались по берегу и упрыгивали далеко от болота, человечек говорил: «Ты не бойся со мной. Упадешь в яму — сразу вытащу. Я пока еще как человек — все умею!»

Очнувшись, Чока увидел, что вода в яме заметно убавилась, обнажились мокрые

липкие обрывы, и теперь вовсе незачем было прыгать: потеряешь последние силы и умрешь от голода, ибо не сможешь поймать даже маленького комарика. Чоке не хотелось умирать, да и что будет там, после смерти? Хорошо, если приснятся приятные сны, а если совсем ничего — очень грустно и неинтересно. И Чока принялся ловить комаров: гонялся за ними, прыгал, подкарауливал, выставив из воды кончик рыльца. Он быстро позабыл о яме, родном болоте, даже о себе самом: так любил он свое главное дело жизни охоту. Наевшись, и вовсе не захотел думать о своей беде, а когда наступила ночь и далеко в черной глубине неба загорелись звезды, он долго смотрел на них, и они казались ему большими светляками, которых можно слизнуть языком, если хорошо подпрыгнуть.

С каждым днем вода теплела и убывала. Наконец она коснулась дна, развезла в мутную жижу ил, мох, упавшие с осени листья. На эту грязь летели тучи комарья и мошкары, валились сверху пухлые мотыльки, и жить стало очень легко. Не хуже, чем в любом болоте, даже в том, где Чока родился. Вот бы посмотрели лягушки, сколько у него вкусной еды!

Прошлогодняя доска, с конца которой Чока хотел выпрыгнуть из ямы, совсем подгнив, обрушилась. И хорошо: не надо беспокоиться и понапрасну биться о жесткую глину стены. Других важных дел хватает: надо много купаться, нырять, барахтаться, зарываться и подолгу лежать в прохладном иле, чтобы после, когда иссякнет вода, не шибко грустить о ней.

Чока вырос, сделался большой, сильной лягушкой за весну и начало лета. И оттого, что он теперь почти не думал про жизнь, которая глухо шумела где-то наверху, он сумел позаботиться о себе: расширил и углубил лужицу под доской, впустил в нее побольше воды.

Яма высохла, в полдни сильно прогревалась, а Чоке было легко и прохладно. К тому же насекомые, боясь жары, начали слетаться к лужице, скапливались здесь тьмой-тьмущей. И Чока разжирел, объедаясь. Задремывая от лени, он жалел своих сородичей, которым, пожалуй, стало уже тесно в болоте и они неусыпно трудятся теперь, добывая пищу.

Однажды, когда Чока грел на солнце свою горбатую широкую спину, в стене ямы послышался шум, треск кореньев. Чока юркнул к себе в дом, притих. Шум усилился, перешел в толчки, удары. Потом отвалился кусок сухой глины, и из дыры высунулась острая мордашка какого-то зверя. Он отряхнулся, сильно потянул носом воздух и задней лапой почесал затылок. Был он почти черный, шерстка красиво лоснилась, точно смоченная водой, а глаз как и вовсе не было — узкие щелочки. Зверь еще раз потянул носом и громко спросил:

— Кто здесь живет?

Чока промолчал, глубже всунувшись в воду.

Зверь направил свой нос — он у него часто подергивался — прямо на лужицу, сказал:

— Вылазь!

Чока выпрыгнул, опасаясь, что может быть хуже, но близко не подошел.

— Кто ты? — осведомился зверь.

— Чока. Лягушка,— ответил Чока.

— Лягушка? Которые в болотах живут?

— Ква-чок! — подтвердил Чока, чтобы у зверя не было сомнений.

— Почему в яме?

— Упал.

— Бедный, — сказал зверь и почесал затылок. — Я крот. Хожу под землей. Прошел под всем лесом, под вашим болотом. Яма вот попалась — огорчение. Не люблю свет и жару. А ты-то хочешь домой?

Чока промолчал, не зная, что ответить: так нежданно появился этот зверь, так внезапно спросил о доме.

— Вот что я тебе скажу, — прохрипел крот (ему уже было плохо на свежем воздухе), — полезай в мой ход и скачи по нему. Скачи, скачи и когда-нибудь выскочишь наверх. А мне некогда, шерсть трещит от жары.

— Нет, — сказал Чока и вдруг соврал неожиданно для себя: — У меня друг есть — Человечек. Он скоро вытащит меня.

— Тогда бывай!

Крот слепо перебежал яму, чуть не сбив по пути Чоку, уткнулся острым рыльцем в другую стену, заработал всеми четырьмя лапами и быстро углубился в глину. Позади осталась черная дыра.

Чока глянул в дыру — темно, сыро, и только слышится глухой шум, скрежет: где-то уже далеко буравил землю крот. «Чудной какой-то, — подумал Чока, — в земле живет, землю роет. Зачем это ему? Разве интересно? Без воды, тины... Совсем диким стал — даже тепла боится». Чока перешел к другой дыре, откуда крот появился в яме, глянул. Темно, сыро. А может, поскакать по кротовому ходу? Решиться — и поскакать. Скакать долго, терпеливо — ведь крот где-то с самого верха начинал свой ход. «Нет, — решил Чока, — страшно. Еще земля обвалится, придавит».

И потекли совсем спокойные дни и ночи. Чока много спал, много ел и очень полюбил смотреть сны о людях и родном болоте. Он так привык к ним, что понемногу сны начали казаться ему более настоящей жизнью. Проснувшись, Чока, случалось, долго всматривался в сумерки ямы и принимал это существование за другой, тоже приятный сон. Если ему становилось скучно, он отправлялся в угол и дразнил большого паука с желтым крестом на спине (паук поселился там, едва высохла в яме вода). Воровал у него мошек, рвал паутину. Паук противно трещал, бил его колючими лапами, а раз больно укусил. Но Чока не испугался: ведь и это почти как во сне.

Лишь иногда, в особенно яркий день, заноет у Чоки внутри что-то тоненько и нежно, захочется ему на простор, но тут же он, потосковав, уснет или примется охотиться за комарами и опять позабудет. Ведь был он лягушкой с маленькой головой и маленьким холодным сердцем.

И все-таки та, большая жизнь напоминала о себе.

Дремал Чока как-то утром в своей лужице, воображал, что покачивается на широком листе кувшинки, и вдруг что-то упало сверху в яму. Упало, завозилось, запищало. Глянул — мышь суетится, шарахается от стены к стене. А вот уже начала прыгать на обрыв: прыгнет, упадет, снова прыгнет. «Точно как я»,— подумал Чока, выполз из лужицы и сказал:

— С прибытием вас!

Мышь оторопела, попятилась и забилась под щепку. Виден был лишь ее острый усатый носик.

— Не бойся, — сказал Чока, — я лягушка. Ква-чок!

Мышь высунула голову, обострила черные глазки.

— И прыгать не надо. Бесполезно. Я тоже прыгал.

— Как же быть?.. — скрипнула мышь.

— Так: живи здесь.

Мышь запищала, замотала головой — с ней случился нервный припадок. Она прыгнула на обрыв, и довольно высоко, упала и вновь бросилась на обрыв. Чока не стал мешать — пусть попрыгает! — и уполз к себе в лужицу.

Долго слышалась возня, осыпалась сухая глина. Чока задремал от скуки, а когда проснулся, перед ним сидела грязная, едва живая мышь.

— Дура,— сказал Чока,— комаров здесь много.

— Я не ем комаров... — хило пожаловалась мышь.

— А-а, ты грызунья? Все равно проживешь: тут разной еды хватает — ветер семена, даже орехи заносит.

К вечеру мышь вырыла себе норку в сухой стене ямы, погрызла еловых семян, поточила зубы о какие-то корешки и улеглась спать.

Так и стали они жить вдвоем. Много спали, много ели, и скоро мышь научилась видеть длинные приятные сны — про ту хорошую жизнь, которая была у нее далеко наверху. Вместе они дразнили паука, грелись на солнце, когда оно стояло прямо над ямой. Раз даже проявили храбрость: задавили шмеля. С перебитым крылом (побывал в клюве какой-то птицы) шмель свалился к ним и начал скверно ругаться, грозить своим жалом. Особенно мышь отличилась — ударила его лапой, а Чока утопил шмеля в лужице. За это Чока научил

мышь видеть сны о людях. Ей понравилось (она знала людей с детства, жила в подполе дома на краю деревни), и сны у нее были еще более приятные, чем у Чоки.

Мышь заготовила много семян, корешков и орехов, а когда начались холода, простилась с Чокой и спряталась в норку зимовать. Немножко выждав, и Чока зарылся в ил.

Засыпало, занесло снегом яму.

Весной Чока всплыл сквозь воду на свет. Поискал мышь и не нашел ее. Понял: она утонула.

Минуло еще два лета. Чока стал пожилой неуклюжей лягушкой: маленькая голова, пухлый жирный живот, маленькие ножки. Он почти не двигался (что проку в суете!). лишь изредка скандалил с падающими в яму жуками: трещат, шумят — никакого покоя. Сожалел, что жуки слишком жесткие, их нельзя упрятать в живот.

Чока решил для себя: нет ничего более приятного в жизни, чем сладко есть и бесконечно спать. Даже интересные сны о страшноватых и непонятных людях теперь виделись ему редко и как-то неясно, точно сквозь мутную воду. Большой паук с желтым крестом на спине похихикивал в своем углу, глядя на Чоку: радовался, что тот давно уже не может прыгнуть к его паутине. «Несчастный, — говорил Чока, — так трудно добывает еду и еще веселится».

От верхнего, где-то очень далеко шумящего мира Чоке не надо было ничего. Любил он лишь солнце. В полдни, при чистом небе, Чока грел свою сырую, грубую кожу, нежился, замирая в полном беспамятстве, и как бы незаметно переставал существовать.

И в этот день светило хорошее солнце, грело мягко, сквозь легкий туман. Чока уже забылся в ленивой дрёме, когда сверху, из леса, донеслись людские голоса. Один звучный, хрипловатый, другой потише и тоненький. «Так кричат человечки»,— подумал Чока, вспомнив свои прежние сны. Голоса становились громче, а вот уже затрещали сухие ветки под ногами людей. Чока открыл глаза, глянул в слепящее солнцем небо и ожил от колыхнувшей кровь надежды: «Вдруг они увидят меня!..»

Люди подошли, огромные, заслонили от Чоки свет. Тот, что был поменьше, в пестрой рубашке, ойкнул и сказал:

— Папа, смотри, яма!

— Яма, — сказал большой человек. — Старый окоп...

Человечек наклонился. Чока увидел его круглые, чуть испуганные глаза, тихо квакнул (тоже от испуга), и человечек крикнул:

— Папа, там лягушка!

— Лягушка, — согласился большой.

— Вытащим. Она такая старая, бедная...

Большой человек промолчал, глядя куда-то поверх ямы, прикрыв ладонью глаза.

— Папа...

— Ну хорошо. Давай руку, лезь.

Человечек повис над ямой, начал медленно опускаться, все больше загораживая солнце, делаясь прямо-таки громоздким. Чока поджал под себя лапы, напрягся, чтобы отпрыгнуть в темный угол, но не двинулся с места. Человечек был близко, от него пахнуло жарой, запахом сухого леса. Вот он протянул руку, осторожно, дрожащими пальцами сжал спину Чоке (пальцы обожгли такие были горячие), поднял, быстро понес вверх.

И сразу Чока ослеп, съежился на резком ветру, почти оглох. Откуда-то издалека донесся тоненький голосок:

— Вот, спас ей жизнь...

— Молодец! — прозвучал хриплый голос. Замелькали огромные тени, послышался треск, шорох, и стало пусто, тихо.

Чока сидел, привыкая к воздуху, свету, движению травы.

Понемногу он начал различать деревья вдали, сумерки между ними. Уловил запахи

цветов, зеленых листьев. А вот ветер донес влажный, густой дух близкого болота. «Мое болото!» — подумал Чока и почувствовал себя на свободе.

«Я сейчас, — решил Чока, — попрыгаю, попрыгаю — и домой».

Он вяло прыгнул, перевернулся в густой траве. Что-то колкое охватило, стиснуло его, он забарахтался, ударился о стебель цветка. Утонул в облаке желтой пыльцы. Совсем рядом, промелькнув черной тенью, каркнула ворона.

Чока отпрыгнул назад, на чистую сухую глину, и сбоку от себя увидел яму. Она зияла сумерками, прохладой, вечным покоем. Вниз уходили крепкие стены. И там, на дне, было все для приятной жизни: сытная еда, долгие сны, лужица для купания и зимовок.

«Там прекрасно!» — сказал Чока и прыгнул в темноту ямы.